

Документы

# ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Вспоминания.



Стихи.

и Урал

МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЕ ОБЩЕСТВО  
КАБИНЕТ МАНДЕЛЬШТАМОВЕДЕНИЯ ПРИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОСИП  
МАНДЕЛЬШТАМ  
и  
Урал

СТИХИ.  
ВОСПОМИНАНИЯ.  
ДОКУМЕНТЫ

*К 75-летию ссылки поэта в Чердынь*

Москва  
Издательство «Петровский парк»  
2009

УДК 821.161.1.09+821.161.1-1+908(470.5)  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6+84(2Рос=Рус)6—5+26.89(235.55)  
М23

Серия «Мандельштамовские места». Выпуск 1.

Редколлегия серии: С. Василенко, Л. Видгоф, О. Лекманов, П. Нерлер (председатель), Н. Поболь, Ю. Фрейдин, О. Шамфарова (секретарь), С. Шиндин.

Осип Мандельштам и Урал. Стихи. Воспоминания. Документы // Сост. и предисл.: П. Нерлер. Послесл.: Ю. Фрейдин. Научн. ред.: С. Василенко. М.: Петровский парк, 2009. 88 с. (Серия: Мандельштамовские места. Вып. 1).

Составление и предисловие: П. Нерлер  
Послесловие: Ю. Фрейдин  
Научный редактор: С. Василенко

ISBN 978—5—901473—29—0

Согласно приговору Особого совещания при ОГПУ от 26 мая 1934 г., О.Э. Мандельштам получил три года высылки с направлением в г. Чердынь Свердловской области. Но пробыл он там недолго: после попытки самоубийства высылку заменили на ссылку, Чердынь на Воронеж. Однако две недели, проведенные на Урале, оставили глубокий след в творчестве Мандельштама. В книгу вошли произведения, в которых обозначена уральская тема или которые были опубликованы на Урале. Печатаются также главы из книги Н.Я. Мандельштам «Воспоминания» о пребывании в Чердыни и материалы из следственного дела Мандельштама и других источников о его высылке.

ISBN 978—5—901473—29—0

© Мандельштамовское общество  
© Н.Я. Мандельштам (наследники)  
© П. Нерлер (составление, предисловие)  
© Ю. Фрейдин (послесловие)  
© Изд-во «Петровский парк» (оригинал-макет)

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящую книгу вошли произведения О.Э. Мандельштама, в которых обозначена уральская тема или которые были опубликованы на Урале. Печатаются также главы из книги Н.Я. Мандельштам «Воспоминания» о пребывании в Чердыни и материалы из следственного дела Мандельштама и других источников о его высылке.

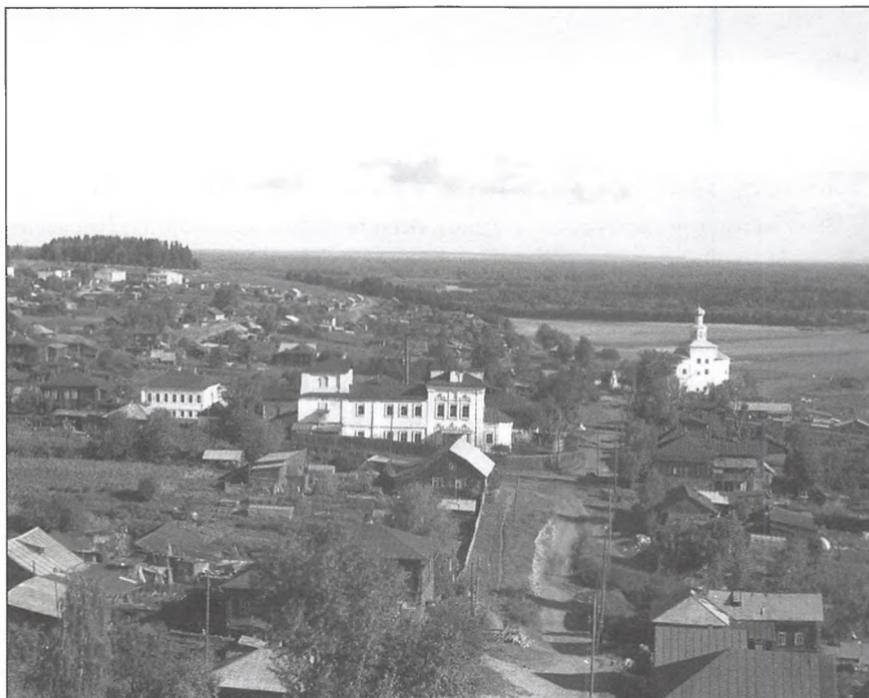
Произведения поэта даются по изданию: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в 4-х тт. М.: Артбизнесцентр, 1993–1997, а мемуары его вдовы – по изданию: Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. Источники документальных материалов приводятся в пояснениях под каждым из них.

В издании приняты следующие сокращения: *АМ* — Принстонский университет (США). Файерстоунская библиотека. Отдел рукописей и редких книг. Коллекция О.Э. Мандельштама; *ГАРФ* — Государственный архив Российской Федерации, Москва; *НКВД* — Народный комиссариат внутренних дел СССР; *ОГПУ* — Объединенное государственное политическое управление СССР; *РГАСПИ* — Российский государственный архив социально-политической истории, Москва; *ЦА ФСБ* — Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Москва.

В оформлении книги использованы материалы Мандельштамовского общества, издательства «Три квадрата», С. Василенко, *АМ*, *РГАСПИ* и *ЦА ФСБ*.

Составитель благодарит У. Брумфильда, С. Василенко, В. Ванюкова, И. Гришина, В. Каневского, О. Лейбовича, С. Митурича, С. Мистрюкова, А. Никольского, Н. Петрову, Н. Поболя, Т. Репину, Е. Сморгуну, Ю. Фрейдина, Г. Чагина, О. Шамфарову и В. Шмырова за щедрую помощь в подготовке этой книги.

*П. Нерлер*



Чердынъ. Вид на реку. Фото У. Брумфильда

## УРАЛЬСКИЕ ВОЛНЫ: ТРИ ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

*Прыжок. И я в уме...*

### 1

С Уралом судьба сталкивала Мандельштама трижды.

Первый раз — в 1923—1924 гг. — заочно: его материалы печатались в одном екатеринбургском журнале.

Второй раз — в июне 1934 года — очно: Чердынь была назначена ему как место отбывания трехлетней высылки, к которой его приговорили.

Представим себе на секундочку, что мандельштамовский ранг в советской писательской иерархии был бы вровень с горьковским. Тогда бы газеты поместили, наверное, следующую заметку: «В начале июня 1934 года известный советский писатель, лауреат Сталинской премии за 1934 год (замена расстрела высылкой), Осип Эмильевич Мандельштам с супругой посетили Уральский регион с кратковременным (двухнедельным) творческим визитом. Целью визита были пропаганда и личное участие в военно-спортивной подготовке (путешествие под вооруженным конвоем и ночные прыжки из окна), а также сбор необходимых впечатлений для будущих произведений».

Будущие произведения, кстати, состоялись, став содержанием третьей — и снова заочной — встречи Мандельштама с Уралом. В Воронеже, в 1935—1937 гг., где и когда к поэту вернулись стихи, Урал и Кама фигурируют в них как одни из важнейших мотивов<sup>1</sup>.

### 2

...В марте 1923 года в Екатеринбурге начал выходить двухнедельный иллюстрированный журнал «Товарищ Терентий» — литературное приложение к газете «Уральский рабочий», «Звезда» (Пермь), «Советская Правда» (Челябинск) и «Трудовой набат» (Тюмень). В октябре 1923-го «Терентий» перестал быть приложением к уральским газетам, обрел самостоятельность — нэпом рождено было акционерное общество «Уралкнига», и редакция журнала ушла под крыло книгоиздателей. В ноябре вышел снова первый, но уже иллюстрированный номер журнала «Товарищ Терентий» — в другом формате и с новой обложкой, а декабрьский выпуск был сдвоенным — «№ 1—2. 8 декабря 1923 г.».

Выходил журнал в 1923—1925 годах регулярно, но довольно часто сдвоенными номерами. Он быстро выбил в самый известный и престижный журнал в городе и регионе. В нем дебютировали Павел Бажов, Аркадий Гайдар

---

<sup>1</sup> См. об этом в послесловии Ю. Фрейдина.



его рассказа «Муха». Как раз в это время Мандельштам переведил этого писателя — в начале 1924 года в издательстве «Московский рабочий» в его переводе вышла книга П. Хампа «Золотоискатели в Вене (из быта «шиберов»)». Но даже не это, а сам по себе прозаический стиль — неповторимо раскованный и одновременно пристальный — «выдает», на наш взгляд, авторство Мандельштама. И наконец, в 1924 году, в № 7 «Товарища Терентия» от 20 января снова встречаем имя Мандельштама — на сей раз в качестве переводчика стихотворения О. Барбье «Шахтеры Ньюкэстля». Этот перевод долгое время находился в неизвестности — им, по-видимому, не располагал и Н.И. Харджиев, впервые собравший воедино переводы Мандельштама из Барбье в «Библиотеке поэта»<sup>2</sup>.

Других следов сотрудничества Мандельштама с «Товарищем Терентием» обнаружить не удалось, однако его имя встречается в других материалах, в частности, в статье Э.М. (Эмилия Миндлина?) «Литературный Петербург»<sup>3</sup>. Остается лишь добавить, что самый механизм сотрудничества был предельно прост. «Товарищ Терентий» имел в Москве уполномоченного редакции (им был М.Е. Долинов), который размещался по адресу — Большой Гнезниковский переулок, д. 10, комн. 609. Мандельштам в этом доме бывал постоянно — здесь на первом этаже располагалась московская редакция газеты «Накануне», а в ней в это время он регулярно печатался...<sup>4</sup>

Случайные вроде бы заработки, первые подвернувшиеся под руку тексты, библиографический полукурьез, — всё это так, но, тем не менее, через них в мандельштамовскую судьбу впервые прокрался Урал.

### 3

...То, что вокруг дела Мандельштама происходит что-то необычное, первым почувствовал Михаил Львович Винавер<sup>5</sup>: «Какая-то особая атмосфера — суэта, перешептывания...», — говорил он Надежде Яковлевне<sup>6</sup>. И как в воду глядел.

Как бы то ни было, но, начиная с 26 мая, в «мандельштамовском деле» стали твориться самые настоящие чудеса — чудеса, доведенные до Надежды Яковлевны следователем под лаконичным девизом: «изолировать, но сохранить!»

Во-первых, главное — приговор копеечный: высылка на три года в Чердынь!

<sup>2</sup> Первыми обнаружили его, вероятно, А. Григорьев и Н. Петрова — составители первой библиографии переводов и переложений О.Э. Мандельштама («Russian Literature». 1984. Т. XV. Вып. 1).

<sup>3</sup> Товарищ Терентий. Екатеринбург. 1923. № 4—5. 23 дек. С. 27 (обнаружено Н. Поболем).

<sup>4</sup> Нерлер П. Поэт у «плотника» // Урал. 1991. № 7. С. 172—176.

<sup>5</sup> Винавер Михаил Львович (1880—1937), адвокат и правозащитник, еврейский деятель, гражданин Польши. Зам. председателя Польского Красного Креста, а с 1924 г. зам. председателя «Общества помощи политическим заключенным» (Помполит), основанного в 1918 г. и до 12 июня 1922 г. известного как «Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным» или «Политический Красный Крест» (при председателе Е.П. Пешковой). Летом 1937 года общество было закрыто, а сам Винавер арестован. Расстрелян 13 ноября того же года.

<sup>6</sup> Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 110.

Во-вторых, жене предложили сопровождать в ссылку мужа, с чем она немедленно согласилась.

Ахматова вспоминала:

*Через пятнадцать дней, рано утром, Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть вечером на Казанском вокзале. Всё было кончено. Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку всё содержимое своей сумочки.<sup>7</sup>*

По версии Н.Я. Мандельштам, Е.С. Булгакова не только сама дала деньги, но и, вместе с Ахматовой, собирала по всему дому на отъезд Мандельштамов.

Для права на сопровождение Мандельштама Надежде Яковлевне выдали удостоверение. Сам документ она получила на руки, скорее всего, назавтра, 29-го, в день отъезда, а 28 мая, несомненно, полностью ушло на всевозможные сборы.

Поезд на Свердловск уходил с Казанского вокзала. С Ленинградского – в тот же день – уезжала Ахматова.

*На вокзал мы поехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами... Осипа очень долго не везли... Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т. е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться.<sup>8</sup>*

#### 4

29–30 мая Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна провели в поезде.

Не одни, а под неусыпным надзором «*троих славных ребят из железных ворот ГПУ*» – своих конвоиров. Согласно уставу конвойной службы, существовали эшелонное конвоирование (Мандельштам еще столкнется с ним в 1938 году<sup>9</sup>), пешее и так называемое особое, когда конвоирование осуществляется в индивидуальном порядке и по особому распоряжению. Именно с этим видом конвоирования, похоже, и столкнулся О.М. на этот раз. Конвоиров ему заказали не из внутренних или конвойных войск и уж тем более не из милиции (случалось и такое), а из низового состава ОГПУ, вооруженных скорее всего наганями.

Собственно, они так и назывались: спецконвой ОГПУ, и старшего из троих звали так же, как и конвоируемого, – Осипом. Во внутреннем кармане у него лежал запечатанный конверт с выпиской из протокола Особого совещания, который надлежало доставить в чердынскую комендатуру – цитирую предписание – «*вместе с личностью осужденного, следуемого спецконвоем в ваше распоряжение, для отбывания высылки*»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Ахматова А.А. Листки из дневника // Ахматова А.А. Победа над судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы. М., 2005. С. 115.

<sup>8</sup> Там же. С. 116.

<sup>9</sup> См.: Никольский А., Поболь Н. Как их везли // Железнодорожное дело. 1999. № 2–4. С. 43–47.

<sup>10</sup> ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 36. Оборот «Формы № 54».

Первой целью на их маршруте был Свердловск. Там, в областном центре, надлежало, по-видимому, сделать соответствующую отметку. Когда бы не это, то самый короткий путь в Чердынь пролегал бы через Пермь.

В пути у Мандельштама усилился душевный недуг, обозначившийся во внутренней тюрьме: напряженное ожидание казни, навязчивая идея самоубийства. И вместе с тем он сохранял адекватность восприятия и присущее ему чувство юмора. Иначе он не сочинил бы 1 июня в Свердловске, на полпути из Москвы в Чердынь, следующую трагикомическую басню:

*Один портной  
С хорошей головой  
Приговорен был к высшей мере.  
И что ж? – портновской следуя манере,  
С себя он мерку снял –  
И до сих пор живой.*

Жанр «басни», на пару с «маргулетами», в тридцатые годы явно заменил Мандельштаму «Антологию глупости», столь любимые им и его товарищами в десятые и двадцатые годы. Он словно бы соревновался в жанровом остроумии и громкости смеха с Николаем Эрдманом – бесспорным королем басенного жанра, автором<sup>11</sup>, например, такого шедевра:

*Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...  
– Но Бога нет! – Не будь придира:  
Ведь нет и сыра!<sup>12</sup>*

Мандельштамовская басня о портном – особенная, в ней не столько скрытается поэтическое остроумие, сколько мигают светлячки мандельштамовского видения того, что с ним на Лубянке произошло. Закройщик собственной судьбы, он, несомненно, понимал, каким должен был быть его «приговор» – высшая мера: и разве не сам он пояснял, что смерть для художника и есть его последний творческий акт? И сделал для этого «всё что мог». Но оказалось, что именно это и спасло его от высшей меры и что, благодаря самоубийственному поведению, он от гибели-то и ускользнул.

## 5

До Свердловска почтовый поезд № 72 тащился почти двое с половиной суток, или, согласно расписанию, – 57 часов и 17 минут. Там – первая пересадка: ссыльная парочка и трое «телохранителей» несколько часов дожидались вечернего поезда по соликамской ветке. До Соликамска – еще почти целые

<sup>11</sup> В данном случае соавтором – с Владимиром Массом.

<sup>12</sup> Талантливо упражнялся в этом жанре и другой знакомец поэта – Павел Васильев. Вот пример из протокола его допроса в марте 1932 г.: «Гренландский кит, владыка океана, / Раз проглотил пархатого жида. / Метаться начал он туда-сюда. / На третий день владыка занемог, / Но жида переварить не мог. / Итак, Россия, о, сравнение будет жутко – / И ты, как кит, умрешь от несварения желудка» (Растрезанные тени. Избранные страницы из «дел» 20–30-х годов / Сост. Ст. Куняев, С. Куняев. М., 1995. С. 82).



Чердынь. Городская больница. Фото У. Брумфильда

сутки: почтовый поезд № 81 находился в пути, согласно расписанию, 20 часов и 14 минут<sup>13</sup>.

В Соликамске – снова пересадка, причем от вокзала до пристани ехали на леспромхозовском грузовике (тут-то Мандельштам и перепугался, увидев бородача с топором, и шепнул: «Казнь-то будет какая-то петровская!»).

Последний перегон – водный: против течения – вверх по Каме, по Вишере и по Колве – Осип Эмильевич с Надеждой Яковлевной проплыли с комфортом – в отдельной каюте, снятой по совету Оськи-конвоира («Пусть твой отдохнет!»).

В Чердыни конвоиры сдали «личность осужденного» непосредственно коменданту, и тот, под воздействием слов начальника конвоя, проявил неслышанную для себя гуманность и устроил новеньких одних в огромной и пустой угловой палате правого крыла на втором (самом верхнем) этаже едва ли не лучшего здания в городе – просторной земской больницы, что на Комсомольской<sup>14</sup> улице, дом 39.

6

Что знал Мандельштам о Чердыни, усаживаясь напротив своих конвоиров в вагоне? Скорее всего – ничего. Ситуация – так мало походившая на

<sup>13</sup> Сообщено А. Никольским.

<sup>14</sup> Ныне Прокопьевской.

путешествие в Армению в 1930-м, готовясь к которому Осип Эмильевич не вылезал из музеев и библиотек!

Исторически и географически он себе плохо представлял, куда «везут они его», эти «чужие люди» из «железных ворот ГПУ». Если Чердынь как-то и звучала для него, то музыкально: возможно, она сопрягалась у него со старообрядцами.

Ему было невдомек, что Чердынь – городок хотя и маленький (около 4 тысяч жителей), но один из древнейших на всем Урале. Некогда вполне себе гордый – величавшийся Пермью Великою Чердынью, что говорило о его столичности в этой самой Перми, широко ведшей свою торговлю (пушнина да еще серебро) – от Великого Новгорода до Персии. Более скромное название «Чердынь», в переводе с коми-пермяцкого, – это «поселение, возникшее при устье ручья», при этом подразумевалась речка Чердынка (или Чер), впадающая здесь в Колву.

Судоходная Колва (правый приток Вишеры, левого притока Камы) связывала Чердынь с Волгой, а через короткие волоки (впоследствии замененные грунтовыми дорогами) – и с Северной Двиной и Печорой. Реки в этих краях – исток и устье всего сущего. Все селения вокруг Чердыни расположены по берегам рек. Транспорт, рыба, молевой сплав (главным образом на Волгу) – всё это основа повседневной экономики города.

Сама Чердынь оседлала правый берег реки – высокий и обрывистый, покрытый хвойным лесом: это он отражался в воде у Мандельштама в стихах. В лесу преобладают ель и пихта, но встречается и сосна, реже лиственница и кедр. Елово-пихтовый лес, растущий на болоте, именуется здесь согрой, а растущий по горам – пармой. Вода в Колве у Чердыни мутная из-за глинистых и торфяных берегов – при высокой воде они размываются.

Первое письменное упоминание Чердыни – под 1451 годом: тогда Чердынь, чисто коми-пермяцкое селение, только обживалась русскими и перестраивалась из новгородского в московские вассалы. В 1462 году православные миссионеры основали здесь монастырь и пытались окрестить местных коми-пермяков и вогулов, а те не горели таким желанием и иногда сопротивлялись. В 1472 году московский отряд во главе с князем Федором Пестрым и устюжским воеводой Гавриилом Нелидовым даже ходил на Чердынь и Пермь Великую замирать их, после чего Чердынь окончательно закрепилась за Москвой, а в 1535 году была официально провозглашена городом.

Отсюда начиналась Чердынская дорога – древний путь через Уральские горы в Западную Сибирь: до конца XVI века здесь зимовали купцы, двигавшиеся на восток. Однако с истощением здесь серебряных руд и с усилением соледобычи в Прикамье экономическая роль Чердыни сошла на нет, а сама она – при Строгановых, в XVII веке – только что не захирела. Соляные копи были хоть и недалеко, а всё же не здесь: железную дорогу дальше Соликамска (это в 100 км) не стали тянуть – рыбе да мехам не нужны рельсы. Неподалеку и Красновишерск, где в 1930-е годы строился, в том числе и шаламовскими руками, бумажный комбинат.

С давних пор уездная Чердынь наращивала свою частную инициативу и гуманитарную мускулатуру: тут имелось свое Общество любителей истории, археологии и этнографии Чердынского края, при котором образовались археологический музей и – в 1899 году, в ознаменование пушкинского юбилея – еще и общеобразовательный. В 1918 году оба музея слились в один – общеобразовательный (с 1922 года – Чердынский краеведческий) музей им. А.С. Пушкина. Множество документов по истории края погибло в 1792 году во время пожара, истребившего архив и почти весь город.

Были в городе до революции городское четырехклассное училище, женская гимназия, низшая ремесленная школа и приходское училище, земская публичная библиотека, земская же больница на 30 коек<sup>15</sup>, аптека, ветеринарная амбулатория, богадельня, приют для бедных детей. Был и городской сад. Действовали некоммерческие товарищества – Общество семейных вечеров (при нем театр), Музыкально-драматическое общество, Общество вспомоществования бедным учащимся (при нем столовая с общежитием) и Общество потребителей.

Без устали служила Чердынь российским уездным городом и как бы законсервировала в себе образ его северной ипостаси: над малоэтажной застройкой, почти сплошь деревянной (даже тротуары тесовые!), – возвышаются простецкие белокаменные соборы постройки XVIII века<sup>16</sup>. Старообрядцев здесь большинство, но соборов больших у них нет. Зато внутри церквей – неожиданные, словно орган, – красовались когда-то деревянные, как у католиков, скульптуры. Потом их собрали в музей...

## 7

Прибытие Мандельштама в Чердынь датируется строго 3 июня, когда в комендатуре при местном райотделе ОГПУ его поставили на особый учет и выдали за № 1044 удостоверение административно-высланного. Режим его наказания предусматривал явку в райотдел каждые пять дней – 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа – для получения соответствующего штампика в удостоверении.

Но отметки за 5 июня нет – видимо, из-за того, что Мандельштам «отметился» в Чердыни совершенно иначе: в первую же ночь, то есть с 3 на 4 июня, одержимый тюремными галлюцинациями и манией преследования, он выбросился из окна палаты, где его с женой так шикарно разместили...

«Прыжок. И я в уме», – так диагностировал эту ситуацию сам поэт. Вывих (а на самом деле перелом) правого плеча не удостоился такого же внимания, тем более что в период белых ночей электричество подавалось нерегулярно и рентгеновский аппарат не работал. (В соседних палатах лежали раскулаченные

---

<sup>15</sup> Она была построена на средства местных купцов к 1913 г., то есть к трехсотлетию дома Романовых, и оборудована по последнему слову тогдашней техники – с рентгеновским аппаратом, с горячей и холодной водой.

<sup>16</sup> Но в центре есть и каменные дома: купеческие особняки и торговые лавки, гостиные дворы, школы.



мужики из района — с запущенными переломами, с запущенными язвами — такие же бородатые, как и сам поэт.)

Зато после этого в Москву — в ОГПУ, в «Известия», в Общество помощи политическим заключенным — посыпались телеграммы. И, поскольку сталинское чудо продолжало действовать, само же ОГПУ и выхватило Мандельштама назад.

Но комендант был недоверчив («кто знает, может, это ваши родственники телеграмму бабахнули»), да и не было такое в порядке вещей. Ожидание подтверждения растянулось еще на несколько дней.

## 8

С правой рукой на перевязи, заросший уже не щетиной, а густой трехдельной бородой — Мандельштам выглядел, по меньшей мере, импозантно. Травмпсихоз не отпускал, и он всё ждал определенного часа (шесть вечера), в который его непременно должны были расстрелять. Но хуже всего было ночью: бессонница! И не та, творческая, когда всё в тебе настроено на стихи, и ночь дарит вожденную «запрещенную тишь», а совершенно другая — болезненная и изнурительная, начавшаяся в дороге и перекидывавшаяся по мосткам тревоги за него к жене. Добивали и белые ночи: он, конечно же, к ним привык, но такая их «белизна» была сюрпризом и для петербуржца.

Рука у Осипа Эмильевича быстро заживала, и уже через несколько дней после «прыжка» он и Надежда Яковлевна начали выходить в город — прежде всего в тщетных поисках жилья. Заходили они, надо думать, и в музей, и в библиотеку, читали или покупали районную прессу.

Газет в Чердыни было две. Одна — «Северная коммуна» (орган райкома партии, райисполкома и райпрофсовета) выходила трижды или четырежды в неделю под редакцией некоего Яборова. Номер мог состоять и из россыпи мелких, даже мельчайших заметок, а мог и целиком из перепечатки какого-нибудь Постановления ЦИК и СНК СССР, например, о сельхозналоге на 1934 год. Много о лесосплаве и о потребной для этого непьющей рабсиле, о сенокосе и о подписке на первый тираж первого выпуска займа «Второй пятилетки», розыгрыш которого вот-вот должен был состояться в областном Свердловске. Сказано и о ликвидации в Чердыни разведки Востокнефти<sup>17</sup>.

18 июня, когда поэт уже плыл в сторону Казани, вышел номер, который, застрянь Мандельштам в Чердыни, его явно бы заинтересовал. В нем объявление об открывшейся в «Северной коммуне» вакансии корректора. Одна из заметок по соседству с этим объявлением называлась «Колхозники принимайте вызов» — о задолженностях по займу «Вторая пятилетка». Запятой в заголовке нет — так что корректору газете точно был нужен.

Едва ли Мандельштаму в «уездной» Чердыни светило что-то большее: это тебе не «губернский» Воронеж, мобилизованный помогать по звонкам и письмам из ЦК.

---

<sup>17</sup> Северная коммуна. Чердынь. 1934. № 77. 16 июня.

Выходила в Чердыни и еще одна газетка – «Известия», орган Чердынского райисполкома, рассчитанный специально на осевших в городе и районе спецпереселенцев! Печаталась она трижды в месяц, каждые десять дней, и единственный номер, который Мандельштам мог держать в руках, вышел 11 июня<sup>18</sup>.

Здесь, как и в «Северной коммуне», максимум внимания – лесосплаву и сельхозработам (в частности, взмету паров и прополке). Есть ударники и передовики, например, семья спецпереселенца Ф. Головки, в которой работают и не ленятся все – и стар, и млад. Но есть и лодыри, бездельники: их клеймят и носят, приводятся их имена. Это из-за них в прорыве и сплав на Котомышском участке, и сев на Вишере, и случайная кампания в Елфимовской сельхозартели, где не случали еще никого, поскольку «не было приказа, чтоб можно было случать». Такой ответ не удовлетворил корреспондента, и он потребовал в эпилоге – «за матками и производителями поставить уход, чтоб создать им охоту к покрытию... Только путем этого можно будет обеспечить выполнение поставленных задач по животноводству». Статья подписана «М.», но вред ли это Мандельштам.

Попадают и чистые анонимки: «На поселке Н-Родина обеда из столовой по распоряжению Губиной выдаются близким и знакомым совершенно нигде не работающим. *Рабочий*». Или: «Медфельдшер поселка У-Пулт Лушин И.А. из привезенных медикаментов два литра спирта выпил сам. *Жаркий*». Представляете?

Однако главная тема номера – это постановление президиума Чердынского райисполкома от 8 июня 1934 года о восстановлении в избирательных правах шестнадцати бывших спецпоселенцев из различных сельхозартелей, «достигших в спецсылке избирательного возраста и показавших на общественной работе добросовестное отношение к труду, а также лояльность к советской власти». Постановление, за подписями заместителя председателя РИКа Пестерева и секретаря Сурякова, было принято на основе соответствующего постановления ЦИКа от 17 марта и было напечатано по ходатайству райотдела ОГПУ. Публикуются текст постановления и передовица: «В шеренгу полноправных граждан СССР». Мало того, называется имя человека, к которому Мандельштам, собственно говоря, и ехал – товарищ Попков, районный комендант<sup>19</sup>! Это к нему и его регистраторам в старинную каменную усадьбу на улице Ленина<sup>20</sup>, принадлежавшую купцу с говорящей фамилией Могильников, должен был бы наведываться каждые пять дней Мандельштам, останься он

---

<sup>18</sup> Известия. Чердынь. 1934. № 15. 11 июня.

<sup>19</sup> Н.Я. Мандельштам называет его «типажем не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал и за жестокость, то есть как свидетель неупомянутых вещей, был отправлен подальше» (Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 7).

<sup>20</sup> Ныне Юргановская. Там же располагался и райотдел ОГПУ, начальником которого был старший лейтенант Разумовский, очень любопытный тип (по документам – казачий сын, по доносам – купеческий). На партучебе он заставлял подчиненных учить античную философию! (Сообщено О. Лейбовичем.)

в Чердыни. Он же, Попков, и решал бы, куда в пределах района и срока определить «писателя» и его жену, ведь Чердынь — единственный на весь район город: на всех грамотеев не хватит!

Спецпереселенцы — это раскулаченные, сосланные сюда в 1930 или 1931 году. Но еще в 20-е годы потек сюда ручеек административно-высланных — главным образом бывших революционеров — эсеров, меньшевиков, а позднее и большевиков (например, взятый по рютинскому делу антисемит и, в июле 1917 года, укрыватель Ленина Василий Каюров<sup>21</sup>).

С этой ссыльной средой поэт и его жена потихонечку начали знакомиться.

## 9

14 июня Осип Эмильевич получил свою первую и последнюю отметку в комендатуре, а 15 или 16 июня его вызвали к Попкову для выбора нового города высылки. Комендант потребовал, чтобы выбрали немедленно, в его присутствии. Зато выбирать можно было всё что угодно, кроме двенадцати важнейших городов, — Москвы и области, Ленинграда и области, Харькова, Киева, Одессы, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Минска, Тифлиса, Баку, Хабаровска и Свердловска<sup>22</sup>.

Выбор остановился на Воронеже:

*Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», — сказал О. М., и мы остановились на Воронеже.<sup>23</sup>*

Итак, 16 июня, пробыв в Чердыни ровно две недели, Мандельштамы покинули этот городок, провожаемые недоуменно-косыми взглядами кастелянши<sup>24</sup>.

Эта кастелянша еще раз даст о себе знать — на Колыме, в лагункте «Балаганное», где судьба свела ее в 1939 году с Еленой Михайловной Тагер, называющей только инициалы своей доброжелательной собеседницы (Е.М.Н.).

Е.М.Н. рассказывала Тагер об «одном писателе», Иосифе Мандельштаме, содержащемся в чердынской больнице, где она работала. Он страдал, по ее выражению, «абсолютным психозом»: каждый день заново свято верил, что сегодня в шесть часов его расстреляют. И каждый день к шести часам начинал психовать — забивался в угол, трясся, кричал... Лечить его было нечем, но очень помогал описанный и Надеждой Яковлевной трюк: незаметно перевести часы

<sup>21</sup> Сталина, подчеркивая его близость к Каменеву, он называл кавказским евреем, тогда как Осип Эмильевич — всего лишь осетином.

<sup>22</sup> ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 32.

<sup>23</sup> Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 112.

<sup>24</sup> Там же. С. 113.



Мемориальная доска О.Э. Мандельштаму в Чердыни. 2009

на два часа вперед... Восемь часов — совсем другое дело, никто за ним не приходил! — и поэт успокаивался...<sup>25</sup>

Обратный маршрут пролегал иначе, в основном, по воде, но продлился дольше — те самые «сплошные пять суток», о которых сказано в стихах, — и это лишь речная часть маршрута: сначала сутки плавания до Перми, там — с суточной задержкой — пересадка, потом еще трое суток в каюте до Казани и только от Казани до Москвы — на поезде.

Это неспешное возвращение по воде, это плавание по великой, ничем не уступающей Волге реке не только вернуло Мандельштаму вкус к жизни, но и, в некотором смысле, проложило дорогу стихам.

Сами стихи (триптих «Кама» и другие) пришли позднее, уже в Воронеже, в 1935 году, но всё их наполнение, а возможно, и былинный размер всё же прикамские. Памятью о мандельштамовских принципах метрических волн и ритмического соседства, можно предположить и тесную связь с «Камой» стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть...», написанного летом 34-го и скрыто обращенного к М. Петровых<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Тагер Е. О Мандельштаме / Подгот. текста и коммент. М.Н. Тагер и Б.Г. Венуса // Звезда. 1991. № 1. С. 166.

<sup>26</sup> Совершенно иначе смотрит на это стихотворение Э. Герштейн: «Но основной расчет на оправдание или на облегчение участи Мандельштама был именно в том, что “крамольное” стихотворение никто не записал. И назвать единственного человека, который его записывал, — это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения: “распространение контрреволюционного материала”. И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о “черной свечке” — это оправдание или раскаяние. Оно лишено всякой эротики, обращено к любимой женщине. Такое прямое высказывание мы встречаем в лирике Мандельштама лишь один-единственный раз. Не уверена, что Наде было известно о дополнительном характере указания Мандельштама на Марусю» (Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 433).

В Москву Мандельштамы прибыли скорее всего 22 июня, провели здесь день или два и уже 23 или 24 июня уехали вечерним поездом в Воронеж. Там они остановились в гостинице «Центральная», находившейся – в согласии с названием – на проспекте Революции<sup>27</sup>.

В конце июня О.М. осмотрел воронежский психиатр и никакого травматического психоза уже не обнаружил. В больницу же попал не Осип Эмильевич, а Надежда Яковлевна, неожиданно заболевшая сыпным тифом...

А Урал стал составной частью их воронежской жизни.

В самом конце мая 1935 года, то есть спустя год после поездки на Урал, Мандельштам всерьез обсуждал с женой, находившейся в эти дни в Москве, следующий проект: *«Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по старому маршруту. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль»*<sup>28</sup>.

Разве можно было себе представить такое год тому назад, в самой Чердыни, когда первое же, что сделал поэт по приезду, так это попытался покончить с собой?!

## 10

*Р. С.* И разве можно было себе представить, что спустя 65 лет на здании районной больницы, где так коротко жили поэт и его жена, будет висеть мемориальная доска?!

Очень простая, почти самодельная, она была установлена в 1999 году по инициативе народного музея «Строка, оборванная пулей» (г. Рыбное, Дмитровского р-на Московской области) и Мандельштамовского общества. На доске – знаменитые строчки (*«Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей...»*), а под ними – надпись: *«В этом здании в 1934 году находился репрессированный поэт Осип Мандельштам»*.

Со временем доска физически обветшала, и в 2009 году во время IV Мандельштамовских чтений, впервые состоявшихся в Чердыни, ее заменили новой и более прочной<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Ныне пр. Революции, 44.

<sup>28</sup> Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. М., 1997. С. 159.

<sup>29</sup> Есть в Перми и практически готовый памятник поэту – композиция Рудольфа Веденева «Мандельштам. Чердынь. 1934. Побег» (Веденев Р. Век Пастернака. Пермь: Департамент культуры Пермского края, 2006. № 74).

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

*O. Mandelstam*

**СТИХИ.**

**ОЧЕРКИ.**

**ПЕРЕВОДЫ**

се - с каква част по-малко се занимаваше с поезията?  
- Писателският ми характер е свързан с мои първи  
професионални работни срещания с Крп, РНФ  
върхове мои книги "Мисли отпечатани в Битоля".  
Защото с моята мисъл. Крп. или трима  
Д. Манделштам

се: Изключително ли си себ си работил в същото  
критично и интелектуално отношение?

се: Да, а днес се акцентира следното отношение.  
първоначално интелектуално отношение:

Мислим по-свободно не чужда страна,  
Наша реч за днешния живот не смисля.  
А когато хванем за погрешоворца  
Във всички времена времевата гора.  
Ето тогава казваме над първи фрази  
И слова над изговорите гора върви.  
Мисляме си в своята гора  
И силовото гора.

А когато сега сега тогава сега  
От играли играли играли.  
Като едни, като други, като всички,  
От една линия бабата и всички.  
Как погледът дарили за угазани играли  
Кому в нас, кому в нас, кому в себе, кому в нас.  
Тяко ви играли у него - то магия,  
И играли играли играли.

се: Кому ви играли или дават в естетиката  
сигурно.

се: В естетиката я не дават, но играли следващо

Д. Манделштам

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища  
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей.  
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подковы, дарит за указом указ:  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина  
И широкая грудь осетина.

*Ноябрь 1933*

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток  
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.  
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – слитен, чуток,  
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,  
Ехала конная, пешая шла черной верхая масса –  
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах –  
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,  
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.  
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!  
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,  
Грамотеец в шинелях с наганами племя пушкинovedов –  
Молодые любители белозубых стихков.  
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам  
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой –  
За бревенчатым тылом, на ленте простынной,  
Утонуть – и вскочить на коня своего!

*Апрель – 1 июня 1935*

От сырой простыни говорящая, —  
Знать, нашелся на рыб звукопас —  
Надвигалась картина звучащая  
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,  
С папироской смертельной в зубах,  
Офицеры последней выточки —  
На равнины зияющий пах...

Было слышно гудение низкое  
Самолетов, сгоревших дотла,  
Лошадиная бритва английская  
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай, —  
Чуден жар прикрепленной земли! —  
Захлебнулась винтовка Чапаева:  
Помоги, развяжи, раздели...

*«Апрель» — июнь 1935*

1.

Как на Каме реке тазу темно, когда  
На дубовых колесах сходят города.

В паутину рядясь, города к городам  
Живит славник Бемет, молодежь в воде.

Утирала вода в сво-ей горе весла —  
Вверх и вниз на Казань и на Тердунь несла.

Зерноподем, велика, макольевет сомнен  
Пуремельно-бревенчатой сбит разгон.

На Тоболе кричат. Одъ сходят на пирту.  
И речная верста поднялась в высоту.

2.

Я смотрел, отдалаясь, на хвойный восток.  
Полноводная Кама несла на Бук.

И хотелось бы горю с кобром отступить,  
Да едва успеваешь леса посылить.

И хотелось бы тут же вселиться, поймав,  
В древоветвистый Уран, населенный шудыми.

И хотелось бы эту бездушную гладь  
В драгоболлой шипела тереть, охранять.

Автограф стихотворений О.Э. Мандельштама о Каме (АМ)

## 1

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда  
 На дубовых коленях стоят города.  
 В паутину рядясь, борода к бороде,  
 Жгучий ельник бежит, молодея в воде.  
 Упиралась вода в сто четыре весла –  
 Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.  
 Так я плыл по реке – с занавеской в окне,  
 С занавеской в окне, с головою в огне.  
 А со мною жена пять ночей не спала,  
 Пять ночей не спала – трех конвойных везла.

*Апрель 1935*

## 2

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда  
 На дубовых коленях стоят города.  
 В паутину рядясь, борода к бороде,  
 Жгучий ельник бежит, молодея в воде.  
 Упиралась вода в сто четыре весла  
 Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.  
 Чернолюдем велик, мелколесьем сожжен  
 Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.  
 На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.  
 И речная верста поднялась в высоту.

*Апрель 1935*

## 3

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток,  
 Полноводная Кама неслась на буюк.  
 И хотелось бы гору с костром отслоить,  
 Да едва успеваешь леса посолить.  
 И хотелось бы тут же вселиться, пойми,  
 В долговечный Урал, населенный людьми,  
 И хотелось бы эту безумную гладь  
 В долгополой шинели беречь, охранять.

*Май 1935*

## СТАНСЫ

Я не хочу среди юношей тепличных  
Разменивать последний грош души,  
Но, как в колхоз идет единоличник,  
Я в мир вхожу – и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки –  
Длину до пят, рукав простой и гладкий  
И волжской туче родственный покров,  
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,  
Она лежала, на запас не тратясь,  
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея,  
Нас разлучили. Как же быть? Пойми:  
Я должен жить, дыша и большевея,  
И, перед смертью хорошея,  
Еще побыть и поиграть с людьми!

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,  
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,  
В семивершковой я метался кутерьме!  
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,  
Как петушок в прозрачной летней тьме, –  
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки –  
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

И ты, Москва – сестра моя, легка,  
Когда встречаешь в самолете брата  
До первого трамвайного звонка:  
Нежнее моря, путаней салата –  
Из дерева, стекла и молока...

Моя страна со мною говорила,  
Мирволила, журила, не прочла,  
Но возмужавшего меня, как очевидца,  
Заметила и вдруг, как чечевица,  
Адмиралтейским лучиком зажгла...

Я должен жить, дыша и большевея,  
Работать речь, не слушаясь – сам-друг, –  
Я слышу в Арктике машин советских стук,  
Я помню всё: немецких братьев шеи  
И что лиловым гребнем Лорелеи  
Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен,  
Но только что всего переогромлен...  
Как «Слово о полку», струна моя туга,  
И в голосе моем после удушья  
Звучит земля – последнее оружие –  
Сухая влажность черноземных га!

*Май 1935*

О, этот медленный, одышливый простор!  
Я им пресыщен до отказа –  
И отдышавшийся распахнут кругозор –  
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав  
На берегах зубчатых Камы:  
Я б удержал ее застенчивый рукав,  
Ее круги, края и ямы...

Я б с ней сработался – навек, на миг один –  
Стремнин осадистых завистник,  
Я б слушал под корой текучих древесин  
Ход кольцеванья волокнистый...

*16 января 1937*

Я нынче в паутине световой –  
Черноволосой, светло-русой, –  
Народу нужен свет и воздух голубой,  
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,  
А сам найду его едва ли:  
Таких прозрачных, плачущих камней  
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,  
Чтоб от него он вечно просыпался  
И льнянокудрою, каштановой волной –  
Его звучаньем – умывался...

*19 января 1937*

Средь народного шума и сбега  
На вокзалах и площадях  
Скороит века-могучая века  
И дробей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,  
Я потом куда хожешь влекти:  
В говорливые дёбри вокзала  
В ожиданья у молчаливой реки.

Далеко теперь та станция,  
Тот с водой кипяченой бак,  
На узелке кружко-песчанка  
И глаза застилающий прах.

Шла перемученого говора шма,  
Пассажирская шла борьба  
И ласкала меня и сверлила  
Со стены этих малых курьба.

Много скрты дел предстоящих  
В наших летизиях и пекучах  
И в товарищах реках и гацах,  
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:  
Убыт парки, слова герства —  
Занавеску белую было,  
Несся шум железной лества...

А на деле то было тихо. <sup>ошибка;</sup>  
Только шел напор по реке, <sup>коррек</sup>  
За за кляном увела трельца,  
Тыб или ка фельной говорке...

И к нему — в его сердубину  
Я без пропуска в Кремль вошел,  
Засервав расстояний холстину  
Головою побинной тязел...

37.

О.Э. Мандельштам. «Средь народного шума и сбега...»  
Список рукой Н.Я. Мандельштам (AM)

Средь народного шума и сбега  
На вокзалах и пристанях  
Смотрит века могучая вежа  
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,  
А потом куда хочешь влеки —  
В говорливые дебри вокзала,  
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,  
Тот с водой кипяченой бак,  
На цепочке кружка-жестянка  
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,  
Пассажирская шла борьба,  
И ласкала меня и сверлила  
Со стены этих глаз жульба.

Много скрыто дел предстоящих  
В наших летчиках и жнецах,  
И в товарищах реках и чашах,  
И в товарищах городах.

Не припомнить того, что было:  
Губы жарки, слова черствы —  
Занавеску белую било,  
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо,  
Только шел пароход по реке,  
Да за кедром цвела гречица,  
Рыба шла на речном говорке.

И к нему, в его сердцевину,  
Я без пропуска в Кремль вошел,  
Разорвав расстояний холстину,  
Головою повинной тяжел.

*Январь 1937*

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,  
И парус медленный, что облаком продолжен, —  
Я с вами разлучен, вас оценив едва:  
Длинней органных фуг, горька морей трава,  
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью.  
Железной нежностью хмелеет голова,  
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...  
Что ж мне под голову другой песок подложен?  
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье,  
Иль этот ровный край — вот все мои права, —  
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

*4 февраля 1937*

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Здание Коминтерна на Воздвиженке; о, это не парадные хоромы! Низкие потолки, крошечные комнатки, дощатые перегородки... Хлопает дверца — и черная лестница, и еще дверца, и еще черная лестница. Клетушки, переходы, домашняя теснота... Я в дощатом закутке у англичанина... Нам непривычна болезненная вежливость европейца... Это у них в крови. Ведь это искусство — сделать социально-приятными мелкие, ежедневные сношения... Тут же в тирольской шляпе, в толстом зеленом пальто сидит типичный фермер. Косматые брови насулены, кажется упрямым маленький лоб, — лоб и тот зарос волосами. Для него пишут какое-то письмо... Он долго держит его в руках, говорит: «супер флю» (не нужно) и, возвратив обратно, продолжает сидеть молча...

На кремлевском дворе тихо после московской улицы. Огибаем «кавалерский корпус»... Гулко звучат шаги по каменным площадкам... Автомобилям не вытоптать здесь травку. Здесь играют дети, а рядом, прохаживаясь по пустому тротуару, тихо и важно беседуют о государстве и революции.

В Андреевский зал, где крестьянская конференция, ведет пухлая, дворцовая, с мелкими ступеньками лестница. На верхней площадке картина: Александр III, похожий на лихача, и волостные старшины, типа старших дворников в поддевках, с медалями и бляхами...

Мимо этого печального произведения искусства — «в» зал конференции... Слишком просторно даже для десяти-двенадцати длинных, крытых красным сукном столов... Непринужденно шумит и двигается маленькая рабочая семья конференции под огромным шатром Андреевского зала. Входя, я услышал русскую речь с добро-советским акцентом волжского колониста немца. То волжанин немец переводил русским крестьянам немецкое слово... Крестьяне слушали по-мужицки — истово, вытянув шею... Мне показалось, что я пришел на перерыв. Рядом кто-то читал по-английски, гораздо тише и сдержаннее... Монгол в полосатом халате и бурят — сидели одиноко за последним столом.

На трибуне я заметил голову, которая показалась мне центральной по крупной выразительности и значительности своей. То был председатель Вуазей, из французской делегации... Настоящий «большеголовый», широкое лицо с лопатой бороды — словно с галереи Парижской коммуны сошел этот философ действия, серьезный и спокойный.

Слишком большой звонок, как бы маленький медный колокол, стоял перед ним, но ему не приходилось призывать к порядку. Другая фигура, «которая» невольно меня поразила и тронула, — был финский делегат: его большая, сутулая фигура, его мешковатый «воскресный» пиджак, его манера говорить (он говорил по-фински), горячая и убедительная, будто все *должны его понять*. От него дышало трогательной верой в свое дело, какой-то чудесной у скандинавского революционера нравственной силой.

Поляк и финн сделали сообщения с мест. Оба рассказали про ложь и кабалу своей страны, как про нечто временное, и говоря, как бы в темноте нащупывали Советскую Россию. То была страшная повесть цифрами и кровью...

Прямо против Вуазей сидели французы-южане, должно быть гасконцы и провансальцы, виноградари, ставшие революционерами. Их семья казалась театрально темпераментной. Эспаньолки, буйные шевелюры... Будто села на скамью вся европейская романтика заговора и революции! Так живуч национальный физический тип. Но они не романтики и не заговорщики — они хотят быть научными революционерами

и прислушиваются к осторожным и точным указаниям марксизма. Революция среди крестьян! Ее тяжелый шаг, ее трезвый взгляд, ее холодная осторожность!

Варга, венгерский делегат, автор «тезисов», олицетворяет эти качества. Европейец до мозга костей, нервный и сухой, невероятно подвижный — он хлопочет о самом важном: о связи, о единстве. Гасконец Жаро, может быть чересчур осторожный, предлагает для Франции поправку: смягченную форму религиозной свободы. Варга умело подготавливает отклонение поправки. За ним железный авторитет Вуазея.

Еще раз окидываю взглядом конференцию: два-три пестрых, ярко-шелковых халата, молодые китайцы, похожие на изможденных экзаменами студентов, с тонкими матовыми лицами, с худым спичечным телом, в европейской одежде, русские делегатки в темных косынках уселись в сторонке, матерински-строгие и скромные, мексиканцы — коричневые, огненные, любящие опасность и действия путешественники, и русские крестьяне, с ласковым любопытством глядящие на иностранцев. На трибуне Наркомзем Теодорович. Он говорит с жаром молодого ученого перед мировым университетом. Чудесная, ясная лекция по крестьянскому вопросу в России, от Болотникова и Пугачева до наших дней, выпуклая, насыщенная исторической правдой. Все понимающие по-русски заслушались, и как военная палатка раскинулся внезапно причудливый университет.

1923

10

„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ“.

4—5

## ПЬЕР ГАМП.

Пьер Гамп — сейчас самый популярный писатель во Франции. Его романы выдержали десятки изданий: есть произведения, разошедшиеся в сотнях тысяч экземпляров, есть пьесы, не сходившие с репертуара избалованных парижских театров. Его «Песнь Песней» премьера, а «Рельсы» знает каждый грамотный человек. Пьера Гампа цитируют, Пьера Гампа интервьюируют, Пьера Гампа инсценируют, Пьера Гампа переводят на все языки.

Госиздат приняла к переводу целый ряд его блестящих беллетристических произведений; предисловие к ним пишет секретарь Ц. Б. французской компартии — Борис Суварин.

Чем объяснить такую до чрезвычайности быстроту и необычайно широкую популярность нового французского бытописателя-триста, романиера-драматурга, еще два года назад никому неведомого? Причины несомненно. Первая, разумеется, как и должно быть — это сильный и своеобразный талант. Вторая причина — современность появления на литературно-общественном горизонте острого тем, на которые пишет Пьер Гамп. Нисколько тысяч и полт печали, он с таким мастерством открывает один за другим новые и новые уголки в жизни и быте «маленького брата» и с такой силой художественности и определенного социального уклона передает читателю свое изображение, что, в сравнении с нашими дилетантскими дореволюционными произведениями, его и слово принадлежит разное звание и Максиму Горькому, который сполна «босновал» поселился в почетном углу барского дома русской литературы. Но есть и третья причина, в которой кроется значительная часть шумного успеха и заступу молодых даров нового гуманизма — это его, безусловно, неслыханная биография. Джек Лондон, О. Генри, Кнут Гамсун должны почитательно расступиться и дать место Гампу. В узкий круг признанных больших писателей вступает человек до 18 лет бывший неграмотным.

Что же сделал, чем был до своей славы этот писатель? Консгаром, кондитером, будничником, чернорабочим, чем хотите — обычные этапы бродячничанья митущей души, в конце концов обрешенной покой на хорошем месте старшего повара в большом ресторане. Многие пишут: были бродягами, многие ими становились, чтобы познать и воспользоваться своей силой наблюдения и тем, из потниной испили, но немногие из пишущих могут в своей биографии ответить неграмотность до 18 лет. А на тех, кто отметит — нелепостей нет. Есть одна замечательная черта в произведении Гампа — это любовь к труду и мажорность и самым мелким деталям трудящихся. Эти два чувства сливаются и просачиваются в каждый его самый маленький рассказ, посвящает ли он всю книгу жизни рабочих боль-



Пьер Гамп.

ночь порфомерной фабрики, дает ли изумительные картины на фоне поселившихся работ железной дороги («Гельсес»), боится или дубильного завода «Муша», лиловое опьянение горестей простого люда. Гамп не учит — он только показывает. Но наблюдая уроки, которые им дается, — не забывает. Они твердят и доказывают, что в мире крутого капитала рабочий не может освободиться от работы, пока он не сбросит с себя оковы, что в предстоящей борьбе, кроме этих оков, он ничего потерять не рискует.

Статья О. Мандельштама «Пьер Гамп».

«Товарищ Терентий». 1923. № 4—5. С. 10

## ПЬЕР ГАМП

Пьер Гамп – сейчас самый популярный писатель во Франции. Его романы выдержали десятки изданий; есть произведения, разошедшиеся в сотнях тысяч экземпляров, есть пьесы, не сходящие с репертуара избалованных парижских театров. Его «Песнь Песней» премирована, а «Рельсы» знает каждый грамотный человек. Пьера Гампа цитируют, Пьера Гампа интервьюируют, Пьера Гампа инсценируют, Пьера Гампа переводят на все языки.

Госиздат принял к переводу целый ряд его блестящих беллетристических произведений; предисловие к ним пишет секретарь Ц.Б. французской компартии – Борис Суварин.

Чем объяснить такую до чрезвычайности быструю и необычайно широкую популярность нового французского бытовика-беллетриста, резонера-драматурга, еще два года назад никому неизвестного? Причин несколько. Первая, разумеется, как и должно быть – это сильный и своеобразный талант. Вторая причина – своевременность появления на литературно-общественном горизонте острых тем, на которые пишет Пьер Гамп. Певец труда и поэт печали, он с таким мастерством открывает один за другим новые и новые уголки в жизни и быте «меньшего брата» и с такой силой художественности и определенного социального уклона передает читателю свое настроение, что, в сравнении с нашими далекими дореволюционными временами, его можно приравнять разве лишь к Максиму Горькому, который своих «босьяков» посадил в почетном углу барского дома русской литературы. Но есть и третья причина, в которой кроется значительная часть шумного успеха и заслуженных лавров нового гуманиста – это его, безусловно, незаурядная биография. Джек Лондон, О. Генри, Кнут Гамсун должны почтительно расступиться и дать место Гампу. В узкий круг признанных больших писателей вступает человек, до восемнадцати лет бывший неграмотным.

Что же делал, кем был до своей славы этот писатель? Кочегаром, кондитером, булочником, чернорабочим, чем хотите – обычные этапы бродяжничанья мятушейся души, в конце концов обретшей покой на хорошем месте старшего повара в большом ресторане. Многие пишущие были бродягами, многие ими становились, чтобы получать и пополнять свой запас наблюдений и тем из подлинной жизни, но немногие из пишущих могут в своей биографии отметить неграмотность до восемнадцати лет. А из тех, кто отметит, – знаменитостей нет. Есть одна замечательная черта в произведениях Гампа – это любовь к труду и жалостливость к самым мелким невзгодам трудящихся. Эти два чувства сквозят и просачиваются в каждом его самом маленьком рассказе, посвящает ли он всю книгу жизни рабочих большой парфюмерной фабрики, дает ли изумительные картины на фоне повседневных работ железной дороги («Рельсы»), бойни или дубильного завода («Муха»), любовно описанный труд и бесхитростно трогательное изображение горестей простого люда. Гамп не учит – он только показывает. Но наглядные уроки, которые им даются, – не забываются. Они твердят и доказывают, что в мире крупного капитала рабочий не может освободиться от рабства, пока он не сбросит с себя оковы, что в предстоящей борьбе, кроме этих оков, он ничего потерять не рискует.

⟨1923⟩

## ШАХТЕРЫ НЬЮКЭСТЛЯ

*(Из Барбье)*

Мы – углекопы Англии богатой,  
Нет – мы кроты, на восемьдесят сажен  
Зашли под землю звонкою лопатой,  
Из грязной толщи вырывая уголь.  
Нас одевает ночь плащом туманным,  
Нас смерть касается крылом совиным.

О, горе, если ученик неловкий  
Предательской ногой заденет камень,  
Он валится неудержимо в пропасть;  
О, горе медленным и горе старым:  
Подземная вода шутить не любит –  
Не ровен час – зальет, они погибнут.

Неосторожным, легковесным – горе!  
Кто позабудет маленькую лампу,  
Ученого подарок – углекопу,  
Проклятый дух, что в подземельи бродит, –  
Голубоватый газ – петлюю мертвой  
Его задушит и на землю бросит.

О, горе всем – хотя бы безупречным,  
Когда кусок от глыбы отрывает  
Стук молотка, густой колебля воздух.  
И многие мечтатели простые  
Кто сына, кто жены голубоглазой  
Похоронили образ в гулкой шахте.



Стачка.

## ШАХТЕРЫ НЬЮКЭСТЛЯ.

(Из Барбье).

Мы—углекопы Англии богатой,  
Нет—мы кроты, на восемьдесят слезен  
Зашли под землю звонкою лопатой,  
Из грязной толща вырывая уголь  
Нас одевает ночь плащом туманным,  
Нас смерть висит над головою сонным.

О горе, если ученик невоинный  
Предательской ногой заденет камень,  
Он валится неудержимо в пропасть;  
О горе медленным и горе старым:  
Подземная вода шутить не любит—  
Нервов чаше—зальет, они погибнут.

Несторонним, легковесным—горе!  
Кто помянет маленькую лампу,  
Ученого пожаров—углевою.  
Проклятый дух, что в подземельи бродит:  
Голубоватый газ—петлею мигает  
Его задунит и на землю бросит.

О горе всем—хотя бы безучерчивым,  
Когда кусок от глыбы отрубают,  
Ступи молотка, густой колыбаи воздух.  
И многие мечтатели пристрае,  
Кто сына, кто жены голубоголовой  
Похоронили образ в гудящей шахте.

И все же мы, замороченные,  
В подземном мире провозвоним грохот  
Огромных человеческих движений:  
Мы вернем черным, драгоценным хлебом  
Из недр земных тебя, о великанья,  
Промышленность—тебя мы сохраним.

Разве не уголь рвется в сильных порохных,  
Ручьи в валах над раскаленных донах,  
Толкает вперед рывковой катушкой,  
Разве не уголь раскаляет катушку,  
Проклятая война окопная,  
Мертвые взорышки Албиона.

И, наконец, братишки мои,  
Скандинавско, чем ближе к смерти разбудит,  
На земле прощай! ведь не мы, так кто же  
Еда восточнеем двоим баскетболу  
Четырехсот надменных, наших друзей,  
Чем живность окопная или рывочная?

Пер. О. Мандельштам.

За ним едва плетется голодная, оборванная семья. Где этот большой и сильный человек «яляет» работу, чтобы не умереть с голоду со своей семьей?

На рисунке плакате «Мать—винчета и горе. Сколько трагизма в этой собственной фигуре матери в ее взгляде, устремленном в безнадежность. Как сказались в этом произведении душа художника, протестующий человек».

Большое число рисунков художника посвящено тем, кто вычеркнут из легальной общественной жизни. Окруженный Парке, веры и проститутки—жертвы жестокого, большого гнета капиталистической эпохи, жертвы бокалей, алкоголизма, несправедливости и духовной тьмы. И здесь Стейблен видел раньше всего человека побежденного и разграбленного млиной капитализма, человека с его горестями, заботами и разочарованиями...

Стейблен из мог, конечно, не отозваться на всемирную войну. Но ему чужд какой бы то ни было узкий национализм. В своих военных рисунках он не показывает кровавых боен, блестящих атак или актов героизма. Нет, и здесь он со страданием, с безжелезьями, с невинно расстреливаемыми мирными людьми. Чьям удаем был труд и кого страшны европейская война давила в своем кошмарном шествии.

Заканчивая этот очерк, мы укажем на еще одну отличительную черту в творчестве Стейблена: Стейблен не видел, как многие другие художники в рабочем—только один из рычагов машины, к которому этот рабочий приставлен. Жизнь трудящегося со всем, что в ней есть темного и светлого, печального и радостного, была близка художнику, ибо рабочем он знал человека одного с собой класса, одного фронта.

Морис Дольман.



Преступление в Капе.

И всё же мы, заморыши немые,  
В надземном мире производим грохот  
Огромных человеческих движений:  
Мы кормим черным, драгоценным хлебом  
Из недр земных тебя, о, великанша  
Промышленность, – тебя мы согреваем.

Разве не уголь рвется в сильных поршнях,  
Рычит в каленых нагруженных домнах,  
Толкает поезд рельсовой путиной?  
Разве не уголь рассылет всюду,  
Проламывая волны океана,  
Морские скороходы Альбиона?

И, наконец, британскую корону  
Стоцветную, чей блеск слепца разбудит,  
Не мы ль гранили? Коль не мы, то кто же  
Дал всколоситься дикому богатству  
Четырехсот надменных, наглых лордов,  
Чья милость околеть нам разрешает?

⟨1923⟩

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ

*D. Mandelstam*

ИЗ КНИГИ  
«ВОСПОМИНАНИЯ»

## ТЕЗКА

В вагоне я не сразу поняла, что с О. М. Он встретил меня с восторгом и мое появление воспринял, как чудо. Да оно и было чудом. О. М. сказал, что всё время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам»... Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: «Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают»... Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: «Ее могут отобрать, как только уляжется шум»... «А так бывает?» — спросила я. Моя наивность поразила его: «Еще бы!»... И еще: «Только не напоминайте о себе — может, забудут»... Вот этот совет — тише воды, ниже травы — мы не выполнили. О. М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О. М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции нисколько не удивилась: все мы к 34 году уже кое-что знали. О. М. утверждал, что от гибели всё равно не уйти, и был абсолютно прав — трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верь им!» Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О. М. заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не О. М., а старший конвойный Оська, тезка О. М. и адресата стихов, когда, отозвав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают»...

О том, что речь идет о стихах — по-народному они называются песнями, — Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...

Все мы, в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали: особенно доверчива молодежь — студенты, конвойные, писатели, солдаты... «Самые справедливые выборы, — сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем»... О. М., как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым: «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обыкновенные выборы», — сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению — первым и последним выборам, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи — солдат и студентов?.. А соседка, носившая мне молоко перед войной

в Калининe, раз вздохнула: «Нам хоть когда подкинут сеledки там, или сахару, или керосинчику... А как в капиталистических странах? Там, верно, хоть пропадай!» Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме, а «там» народ погряз в неграмотности и темноте... За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор: отказывают ли в больших городах, вроде Лондона или Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте (1959), и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что «там» вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил: «там» ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем невероятные... Да и кто станет жить без прописки? Враз попадешься!.. Если все мы верили своим воспитателям и даже воспитатели, запутавшись, начали верить самим себе, что же удивительного, что им поверил старший конвоир Оська?

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О. М. назвал «племенем пушкиноведов», «молодыми любителями белозубых стихов», которые «грамотеют» в шинелях и с наганами... «Вот как римские цари обижают стариков, — говорил товарищам Оська. — Это ж за песни его так сослали»... Описание Севера подействовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную — по инструкции! — Оська умудрился шепнуть, что наша цель Чердынь — там климат хороший — и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою... Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения... Но, оказывается, напрасно — я уже это знала. Но я утешила старшого — если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить Бог знает что — такую из всего делали тайну.

Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту: «Пусть твой отдохнет»... Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и «вредителей» — с ними надо держать ухо востро. — «А твой — что! Его и стеречь не стоит!» Но до еды, как я ни пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся — запрещено. Лишь сдав О. М. в Чердыни коменданту, конвоиры сказали: «Теперь мы свободные — угошай»...

В своей жизни я соприкоснулась еще с двумя людьми Оськиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем... Он мечтал о демобилизации, просто бредил ею, и я

рада была узнать, что он вырвался на волю. «Даже и совхоз вроде рая», — сказал он при встрече... Другой — низколобое, звероподобное существо — упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришлась ему по вкусу. Годами, в трезвом и пьяном виде, он проклинал «контру», «немца», «вредителя», «фашиста», «врага», сгубившего его карьеру. Жил он мечтой — встретить и казнить злодея. Он затаил обиду и против советской власти: зачем таткуются с такими преступниками? Не в лагерь их посылать, а в расход — и он выразительно прищелкивал пальцами...

...Плохо бы нам пришлось, если б инструкцию о перевозке заключенного Мандельштама вручили не Оське, а этому человеку.

## ШОКОЛАДКА

Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от О. М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя! Купить хлеба — нельзя! Подойти к газетному ларьку — нельзя!.. На промежуточных станциях тоже не давали выйти — не положено! О. М. сразу заметил это: «Значит, и ты попалась»... Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, а еду добровольно, провожаю... «Нельзя. Инструкция»...

Свердловск — это многочасовое — с утра до позднего вечера — сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении — нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение — часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты... Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки, и те не удостаивали нас вниманием... Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянуться... Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серьезная...

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск — Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделили от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий — у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь.

Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишаших народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех

вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает... Но скорее всего это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит — так и надо, а моя хата с краю... Равнодушие толпы ранило и мучило О. М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят»... Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно — пристрелить, убить, растерзать — и никто не вмешается... Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища... Всю дорогу я пыталась перехватить хоть бы чей-нибудь взгляд, но мне этого не удалось...

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38 году я жила в Струнине, в стоверстной зоне под Москвой; это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженощно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешеченное окно теплушки шоколадку — она несла ее дочке!.. Редкое угощение в нищенской рабочей семье... Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива — всё же удалось хоть что-то сделать! Кое-кто из соседок, правда, вздохнул. «Лучше с ними не связывайся... Со свету сживут... по завкомам затаскают»... Но моя хозяйка «сидела дома», то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне-телятнике 38 года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпованным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей, — вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира: дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюрьмы...

По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях — мужчине и женщине, — которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.

## ПРЫЖОК

Я поняла, что О. М. болен, в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамейке и напряженно во что-то вслушивается. «Ты слышишь?» — спрашивал он меня, когда наши взгляды встретились.

Я прислушивалась — стук колес и храп пассажиров. «Слух-то у тебя негодный... Ты никогда ничего не слышишь»... У него действительно был чрезвычайно изощренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе.

Всю дорогу О. М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, чтобы не попасться врасплох и успеть... Я поняла, что он не только ждет конечной расправы — в ней и я не сомневалась, но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути... «В дороге? — спрашивала я. — Ты, верно, про двадцать шесть комиссаров вспомнил»... «Отчего ж нет? — отвечал О. М. — Ты думаешь, что наши на это неспособны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно... Но в своем безумии О. М. надеялся «предупредить смерть», бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох...

Мысль об этом последнем исходе всю нашу жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызвали резкий отпор<sup>1</sup>. Основной его довод: «Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться»... И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» О. М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Впрочем, чаще всего он отшучивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт!» И еще: «Не могу жить с профессиональной самоубийцей»... Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь — как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют, — избавят от самоубийства»... А он, уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое»... С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: «Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим...»

А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?»... Если б он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток — в лагерь, к ужасу и смерти, а меня — от

<sup>1</sup> Рассказ Георгия Иванова о том, что О. М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста.

посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека — ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, всё поддерживала фраза О. М.: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?», да еще слова протопопа Аввакума: «Сколько нам еще идти, протопоп?» — спросила изнемогающая жена. «До самой могилы, попадьа», — ответил муж, и она встала и пошла дальше.

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик... Они ведь забудут всё и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верят нам. А ведь они — современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение: «Говорят, что там боялись *все*. Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет»... Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была «профессиональной самоубийцей», как меня дразнил О. М. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца»...

Итак, в вагоне, под охраной трех солдат, О. М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью: этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острейшей наблюдательностью. «Внимание, — записал он где-то в черновиках, — доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность — увертки лирической лени». И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывая горючее его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи и, относя всё к себе — не эгоцентризм ли является первым признаком душевных заболеваний? — делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в буро-красной рубашке, с топором в руке — своим видом напугал О. М. «Казнь-то будет какая-то петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О. М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен — вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забьются и «зацапают», когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О. М. понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас

поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чека и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажом не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил какие-то старания, по любопытно-злым взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не «потворствовал» приезжающим под конвоем... В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как будто прозрачным сном, сквозь который видела, как О. М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг — я почувствовала это сквозь сон — всё сместилось: он вдруг очутился в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения — что-то шлепнулось — и крик... Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу... За мной бросились санитарки. Мы нашли О. М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я недоглядела.

Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное всё цело. Это был благополучный исход — он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным. Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов, Бог их знает, кто они были. О. М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради оставляли, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже — в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О. М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихах: «Прыжок — и я в уме».

## ЧЕРДЫНЬ

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О. М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы: помог, как он мне тогда же объяснил, соликамский опыт: мужики это мужики, и от них ничего худого ждать не надо... «Те» выглядят совершенно иначе... У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльничьими методами, как О. М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятого в человеческом поведении — вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы — переселение в чудовишных условиях, непосильные тяжести, ушибы... Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице кастаньяншей, — она считала, что ей удивительно повезло с работой, — говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О. М. определил, кто она<sup>2</sup>.

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любим называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами — они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастаньянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы — их потом не достанешь — и занялась огородом — иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыни был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы заходили с кастаньяншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться — отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать и О. М., хоть он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая «видом на жительство» служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О. М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять: «Они считают, что нас здесь и так слишком много... «А он имеет право?» — спросила я, объяснив, что назначение О. М. просто «Чердынь», а не район... «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города»... В начале весны

---

<sup>2</sup> С.-р.

здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. «А там были совсем больные товарищи», — сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть.

Муж кастелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется!» — вздыхали матери, но к себе брать детей не решались: «Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут»... Собственное будущее представлялось им совершенно ясно: при случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может, смягчится», — сказали мы как-то марксисту. «Что вы! — ответил он. — Только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее: в их положении оптимизма не наберешься... Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас... За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчением... Расставаться с иллюзиями никому не хочется.

Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья О. М.: «Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются»... «Почему в таком виде?» — спрашивала я. Они не знали, как объяснить. «А раньше тоже было так?» Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело... Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо: «это» проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердыню как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась «внутри», начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный — их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика Г.<sup>3</sup>, провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов в Москве. Он приехал «хлопотать» и ничего не добился. «Никого не осталось, — сказал он мне. — Они сослали всех, даже Милю, даже Нолю»... Он перечислял мне сыновей и подростков-внуков: «Так никогда не бывало»... Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи — все оставались

---

<sup>3</sup> Гендельмана.

на воле и жили, где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но у него ничего не вышло.

Я рассказала чердынским ссылкой про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить О. М. в район – в еще более тяжелые условия? Может, удастся добиться облегчения участи, лечения? Они сомневались... В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался обложенным властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали, они часто слышали заверения, что их только «изолируют», но постараются «создать им условия», чтобы они могли жить и работать... Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила не «сохранение», а самое обыкновенное уничтожение втихаря, без свидетелей, в «удобную минуту»... Единственное, на что можно надеяться, это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно, для этого надо собрать все силы. Этому учит опыт и трезвый анализ положения... Так нас поучали люди, которые приобрели опыт раньше нас. А нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме: такая уж у них судьба, что они невольно видят всё в чересчур темном свете. Три года ссылки в Чердынь – неужели это конец? Всё наладится, всё смягчится, жизнь возьмет свое...

Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды, расстаться с иллюзиями не хочет никто, посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди тех, кто считает себя зрячими, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду... Может, именно этим объясняется наша живучесть?

У моих чердынских знакомых осталась одна цель – сохранить человеческое достоинство. Ради этого они отказались от всякой деятельности, добровольно обрекли себя на полную изоляцию с перспективой близкой гибели. Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравнению с ним то, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активной политической борьбой... В известном смысле они приняли путь самоусовершенствования, который им когда-то предложили веховцы, а они с негодованием отвергли. Впрочем, выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, это вой, который всё равно никто бы не услышал.

Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской кастелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь О. М. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие настенные часы. Однажды О. М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку

перевести часы. Мы это с ней сделали, и О. М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри, — сказала я. — Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого»... Как это ни странно, обман удался и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились.

Кастелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторше из Ленинграда Е. М. Тагер. Промаявшись около двадцати лет по лагерям, Тагер получила после Двадцатого съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую кастеляншу. Случайность цеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке — дойдет ли он когда-нибудь к людям? — о том, что худшие ожидания чердынских ссыльных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы «хоть они жили»... Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям ссыльных и каторжных? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители?

Этого я не знаю и никогда не узнаю.

## ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре — или это была белая ночь? — и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38 году пришли чекисты и снова увели О. М., у меня опять в руках остался пустой пиджак — в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О. М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь всё же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, всё равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто — «иначе никто не дался бы им в лапы живым»...

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О. М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. «Этого я не мог даже мысленно произнести» — таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение,

Нобрый, заросший бородой бородой две недели прожил О.Б. в Чудини, внимательно приглядываясь не только сосредоточенным и почтучь-то очью спокойным взглядом. Он не покупал таких же бородатых как он мужиков, которые бредли по коридорам фештайт больницы. У них гримасно закусочные измы, и их лечили такими же циркулярными методами, как О.Б.. Они вали между собой нетерпеливые разговоры и почтучь-то всегда упоминались. Худенькая женщина о лицах нестидоситации, осанная, устроенная в больницу кастелиншей, говорила, что готова похоронить ради этих мужиков жизнь, и по этой причине О.Б. сразу понял, что она.

«А называли там этих мужиков? Пероселекцини? Перосенекцини?»

Не могли, но раслукаченными их называть запрещалось. У нас ведь знают, как надо пользоваться словами... Бородатые люди с гримасными лицами уже давно лежат в могилках. Им никогда о них не упоминали. Вероятно боялся коснуться этих слов.

\*\*\*

В то время *дидидид* не только на поторге, но и в смысле еще сохранилось известное товарищество и взаимопомощь/на поле с эту данно было покончено/. У кастелинша приняла во мне живейше участие. Она настаивала, чтобы я немедленно купила на зиму земли и занялась огородами. Им заходили о ней и короткогомучу человеку, жившему с женой в комнате заочкалешной сочинения Баркса и Зигальса. Короткогомучу вечно спорил с длинноногом мужиком кастелинши. Это были оковы рабства партии - их верификация, а спора эти начались еще в дарском подполье. Собственное будущее представлялось им ослепительно ясно; при случае их прыскают или отдают в лагеря. Им надежд, им иллюзий у них не было. В они уверили себя прикиряться с судьбой и не тратить денег на безумные телеграммы, ведь все серьезные начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами и протестами... Бюлета еще никто никогда не дождался... А они у этих людей был огромный - они таскались по лагерям и сидели уже добрый десяток лет.

Кроме того они упоминали когда насчет состояния О.Б..

считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

«Может, вытесненное?» — допытывалась я. Он твердо настаивал, что «вытесненное» у него совсем другое, а это постороннее. «Страхи — и то совсем не те»... О. М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере для меня, очень мало темных мест — я говорю именно о «темных местах», потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал, скупое высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине... Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее, наоборот... Да стоит ли вообще думать о «задержках», когда болезнь вызывается слишком сильной реакцией на действительность?

«Чей же это язык? чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, шелкали пальцами — символический жест, означавший «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Ведь всё их поведение тоже служило для застрашивания заключенных, они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О. М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из «железных ворот ГПУ». О. М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный из охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в «воронке», но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его «преступлением и наказанием»...

«Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто “сборная цитата” из всего, что я слышал»... («Сборная цитата» — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некоей обобщенной «сборной цитаты», представляющей как бы винтэссенцию его мыслей и слов...)

Чтобы проверить, как О. М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О. М. возмутился: конвойные — простые деревенские парни, несущие страшную службу — «как кур во щи попались», а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. «Обыкновенные люди этого говорить и думать не могут»... «Обыкновенные» люди и те, с кем он столкнулся внутри, представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыни, и позже О. М. говорил: «Ты себе не представляешь, как они там подобралась»... При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже,

от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те «внутри» – совсем особые: «чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание – обыкновенный человек этого не выдержит»... В Чердыни он относил к людям «внутренней профессии» одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали – с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: «Бог знает, что ему взбредет в голову». Это был человек гражданской войны. «Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, – с ужасом сказал мне коротконогий марксист, – а это к добру не приводит – ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О. М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О. М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей как подсудимых на будущем процессе и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода – оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала «классовым чувством», а потом «пользой государства», – сохранилось и работало «внутри». Там постоянно угрожали подсудимым «муками совести». Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его «таскали», требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов... Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И «процесса» вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О. М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания – этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не «поднимает дела» только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не разговором... Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О. М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызвали чувственную окраску – он не только думал, но и представлял себе, как всё может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» – «Мне так кажется»... Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах... Конечно, это безумие... А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют – хорошо, если недонесение,

но ведь можно пришить что угодно... Следовательно, обещавшему «не поднимать дела», верить было бы настоящим безумием и даже подлостью. Вот Адалис, например: я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей — она поверила следователю и тут же отреклась от ни в чем не повинного человека...

Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания — пока что психологические и во всяком случае такие, что не оставляют никаких следов на теле, — всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло — всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя, кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «Там за проволоккой колючей, В самом сердце тайги дремучей, Тень мою ведут на допрос»...

О. М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино «не положено»... Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они “оттуда” приезжают в таком состоянии...»

У меня сохранилось устарелое представление, что ссылая человека в бреду нельзя — беззаконие... И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть, — сказал один из них. — Что она может? Ровным счетом ничего...» — «А что она за человек?» — спросила я. — «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач. Ей не повезло — она попала в местность, куда посылали «оттуда», и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и «действовать по инструкции». Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжения начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но всё же по мере сил лечила их, а мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы О. М. послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. «Это у них проходит, а там его загубят... Вы знаете, как у нас в таких местах...» Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями «внутри» обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости

этих заболеваний; люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравненно лучше.

Через много лет в поезде, идущем на восток, я попала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло: она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное — 54 год, и девушка разговорилась. Куда идти?.. Как спастись?.. Ведь больше нельзя терпеть... «Главное, ничего нельзя сделать... Что врач?.. Пишем, что прикажут, делаем, что прикажут...» К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности... А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем «по инструкции», и нечего на это закрывать глаза.



А.Э. Мандельштам, М.С. Петровых, Э.В. Мандельштам, Н.Я. Мандельштам,  
О.Э. Мандельштам и А.А. Ахматова. 1933

## О ПРИРОДЕ ЧУДА

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О. М. что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера – суэта, перешептывания...» Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор – «минус двенадцать». Всё это в неслыханных темпах – пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена! А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся, настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупинки реальности, всё же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастьях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо – лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли... Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О. М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: «Улита едет... Пока до нас доползет, снег выпадет»... И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жильё: «Смотрите, чтобы из шелей не дуло. Здесь зима знатная».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки – телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам:

«А может, это ваши родственники бахнули?.. Я почему знаю!» Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам немало волнений — пока наконец не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», — сказал О. М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводу, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже считал нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло «сверху»...

Зато с кастеляншей всё вышло наоборот — она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у О. М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм — они соглашались доверять только собственному опыту. Ссылный О. М. был для нее «свой» — через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссылный может быть зачислен в категорию «своих» и что при ссылных тоже надо держать язык за зубами; неожиданно помилованный — для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, — он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссылные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специальными засланцы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится — я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим», в сущности, не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее

забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается... Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, но всё же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но всё же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения, нельзя было не сослать О. М.: «Должно же государство защищаться? Что ж будет иначе — ты пойми»... Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что ненапечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли сослать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы некогда испугались хаоса и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх — самое, пожалуй, стойкое из наших чувств, мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, — кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услышав вечно повторяющееся: «нас первых повесят на столбе», — я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не стало никаких неожиданностей, а всё текло гладко и планомерно, — вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем, значит, нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы... Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудились анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей — какой-нибудь кастелянши, поэта или болтуна.

Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

## К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации... Пристань в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямах тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачиванье столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь не было. Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти — периферийные волны — снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране — куда угодно, только прочь из родной деревни... Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов: гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачиванье, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли, как мухи.

Насильственное переселение — это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бородачами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушки «эзков», отправляемых на Дальний Восток. А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками, эстонцами... И снова теплушки с эками. Они шли всегда — иногда гуще, иногда реже... Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тшедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшихся на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе — такие беспомощные и в районе проживут!.. На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда, всё забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы прибывались на платформу, нас всё время останавливали какие-то знакомые

старухи – внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», – сказала Анна Андреевна... «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» – сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О. М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом»<sup>4</sup>. Это молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий идвигающий его культуру. И мы тоже «все как будто странники» и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все-таки я не могу сказать – нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт – это привилегия горожанина, деревня у нас беспаспортная, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан. Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей – ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Это Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны всё же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия – с конвоем и без – затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе – мы еще бродили по улицам – «поговорить о деле»... Дежурный отогнал его: «Уходите прочь... Целыми днями к нам такие лезут»... О. М. вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», – сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, «дела» и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливыцы были...

---

<sup>4</sup> Чаадаев.

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокошующие толпы и почти первыми взобрались на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с изрядком. «У нас голод, — объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. — Но сейчас всё по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает...» А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе тещы и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет...» Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали полочки от низших категорий. По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получать билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться, — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей» и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени осталась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в Данта почти не заглядывал. Быть может,

возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность — заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы бодем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... «Как так всем! — воскликнул сановник. — Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не скovyрнутся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой?..

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую «передышку»...

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА  
И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

*O. Mandelstam*

**ВОКРУГ АРЕСТА И ССЫЛКИ**

**О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ В ЧЕРДЫНЬ**

Выписка из протокола

21

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от „26“ мая 1934 г.

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

дело № 4108 по обвин. гр.  
МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмилье-  
вича по 58/10 ст.УК

МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмилье-  
вича выслать в г.Чердынь  
сроком на ТРИ года, считая  
срок с 16/5-34г.  
дело сдать в архив.

Секретарь Коллегии ОГПУ

Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ  
от 26 мая 1934 года (ЦА ФСБ)

<1>

**Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ  
от 26 мая 1934 года с постановлением выслать О.Э. Мандельштама  
в г. Чердынь сроком на 3 года**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 26 мая 1934 г.**

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
36. Дело № 4108 по обвинению гр. МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича по 58/10 ст. УК	МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича выслать в г. Чердынь сроком на ТРИ года, считая срок с 16/5–34 г. Дело сдать в архив.

Секретарь Коллегии ОГПУ

*Печать-факсимиле*

*Круглая печать ОГПУ*

*Настоящее постановление мне оглашено 28 мая 1934 года.*

***О.Э. Мандельштам***

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 29–29 об.*

⟨2⟩

**Служебная записка начальника Секретно-Политического Отдела ОГПУ СССР  
Г.А. Молчанова № 157766 от 27 мая 1934 года о направлении  
О.Э. Мандельштама в высылку в Чердынь и о разрешении свидания с женой  
и возможности взять вещи**

ОГПУ СССР

Секретно-Политический Отдел

*27 мая 1934 г.*

№ 157766

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
УСО ОГПУ – тов. ЗУБКИНУ**

Осужденного Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ от 26 мая с. г. гр-на МАНДЕЛЬШТАМА Осипа Эмильевича к высылке в гор. Чердынь направьте к месту назначения спецконвоем не позже 28/V с. г., *дав свидание с женой и возможность взять вещи.*

Нач«альник» СПО ОГПУ

(Г. Молчанов)

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 34. Рукописная вставка – рукой Г.А. Молчанова.*

⟨3⟩

**Служебная записка помощника начальника Учетно-Статистического Отдела  
ОГПУ СССР С.Я. Зубкина и помощника начальника 2 отделения ОГПУ СССР  
Мишустина № 29—353828 от 27 мая 1934 года о выделении спецконвой для  
сопровождения О.Э. Мандельштама в высылку в Чердынь**

⟨27 мая 1934 года⟩

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № 29—353828

Коменданту ОГПУ

Просьба выделить спецконвой на 28/V — с. г. для сопровождения в гор. Чердынь, в распоряжение Чердынского райотдела ОГПУ, осужденного МАНДЕЛЬШТАМА Осипа Эмильевича, содержащегося во Внутреннем изоляторе ОГПУ.

Исполнение сообщите.

Основание: реестр секретаря Колл«егии» ОГПУ т. Буланова.

Приложение: пакет №... талон №...

и выписка для объявления и возвращения в УСО.

Пом. нач«альника» УСО ОГПУ (Зубкин)

Пом. нач«альника» 2 отд«еления» (Мишустин)

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 35. Оборот Формы № 54. Помета внизу, наискось, карандашом: «К делу № 4108. Ж«алоб» не поступало».*

**Служебная записка помощника начальника Учетно-Статистического Отдела  
ОГПУ СССР С.Я. Зубкина и помощника начальника 2 отделения ОГПУ СССР  
Мишустина № 29/4108/с от 27 мая 1934 года о препровождении  
(вместе с личностью осужденного) выписки из протокола  
об осуждении О.Э. Мандельштама**

Начальнику Чердынского райотделения ОГПУ,

г. Чердынь

Копия: Начальнику УСО ПП ОГПУ Свердловской обл.,

г. Свердловск

Учетно-статистический отдел

27 мая 1934

29/4108/С

Препровождается выписка  
из протокола Особого  
Совещания при  
Коллегии ОГПУ от 26/V-34 по делу  
№ 4108 – МАНДЕЛЬШТАМ Осипа  
Эмильевича, вместе с личностью  
осужденного, следуемого спецконвоем  
в ваше распоряжение, для отбывания  
высылки.

Прибытие подтвердите.

Приложение: выписка.

Пом. начальника УСО ОГПУ

(Зубкин)

Пом. начальника 2 отделения

(Мишустин)

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 36. Оборот  
Формы № 54.*

**Служебная записка помощника начальника Секретно-Политического Отдела  
ОГПУ СССР М.С. Горба № 157868 от 28 мая 1934 года с разрешением  
Н.Я. Мандельштам сопровождать О.Э. Мандельштама в ссылку в Чердынь**

ОГПУ СССР

Секретно-Политический Отдел

28 мая 1934 г.

№ 157868

Тов.

В«есьма» срочно

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  
УСО ОГПУ (2 отделения)**

Просьба отправить вместе с направлением спецконвоем в ссылку  
МАНДЕЛЬШТАМА жену его МАНДЕЛЬШТАМ Надежду Яковлевну.

Пом. нач«альника» СПО ОГПУ /Горб/

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 33.*

**Удостоверение Н.Я. Мандельштам от 28 мая 1934 г., выданное ОГПУ СССР  
для сопровождения О.Э. Мандельштама в ссылку в г. Чердынь**

Союз Советских Социалистических Республик  
Объединенное Государственное Политическое Управление  
при Совнаркоме

*Отдел учетно-статистический*

28 мая 1934

№ 29. 155. 4005

Москва, площадь Дзержинского, 2

Телефон: коммутатор ОГПУ

Лит...

Вх. №... на №... от ..... 193...

При ответе ссылаться на номер, число и отдел

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Дано гр. МАНДЕЛЬШТАМ Надежде Яковлевне в том, что она следует в гор. Чердынь к месту ссылки мужа — МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича.

Видом на жительство служить не может и подлежит сдаче в Чердынское райотделение ОГПУ.

На проезд по ж. д. выдано требование за № 380539 от 28/V—34 г.

Зам. нач«альника» УСО ОГПУ:

*Подпись*

Пом. нач«альника» 2 отд«еления»:

*А. Шишкин*

*АМ. Короб 4. Папка 19.* Треугольная печать: «Учетно-статистический отдел ОГПУ при СНК СССР».

**Удостоверение ОГПУ СССР от 3 июня 1934 г., выданное О.Э. Мандельштаму  
в Чердыни как административно-ссылному взамен вида на жительство**

Союз Советских Социалистических Республик  
Объединенное Государственное Политическое Управление  
при Совнаркоме  
Чердынское районное отделение

3 VI 1934

№ 1044

Взамен вида на жительство

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Дано админссылному *МАНДЕЛЬШТАМ Осипу Эмильевичу* в том, что он состоит на особом учете в Чердынском Райотделении ОГПУ без права выезда за пределы *г. Чердыни*.

Обязан явкой на регистрацию в райотделение ОГПУ каждого *1, 5, 10, 15, 20, 25* числа.

При отсутствии отметки о своевременной явке на регистрацию удостоверение не действительно.

/Нач. Чердынского РО ОГПУ:

*Подпись*

Уполномоченный:

*АМ. Короб 4. Папка 19.* На обороте — «Карточка для регистрации» О. Мандельштама по месту ссылки с единственной заполненной графой: «Регистрирован *14/VI 1934* г. Подпись: *Б. Абрамов*».

⟨8⟩

**Телеграмма Н.Я. Мандельштам В.Я. и Е.Я. Хазиным от 3 июня 1934 года**

649 ЧЕРДЫНИ 91 17 3 11 36 СРОЧНАЯ МОСКВА 3/5–26  
НАШЕКИНСКИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

ОСЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЕН БРЕДИТ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ  
ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОМА ЧЕРДЫНЬ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ НАДЯ

*АМ. Короб 3. Папка 101.*

⟨9⟩

**Телеграмма Н.Я. Мандельштам В.Я. Хазиной и А.Э. Мандельштаму  
от 5 июня 1934 года**

322 ЧЕРДЫНИ 179 35 5 22 = МОСКВА НАШЕКИНСКИЙ 5  
ХАЗИНОЙ МАНДЕЛЬШТАМ

ОСЯ БОЛЕН ТРАВМОПСИХОЗОМ ВЧЕРА ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ  
ОКНА ВТОРОГО ЭТАЖА ОТДЕЛАЛСЯ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА СЕГОДНЯ  
БРЕД ЗАТИХАЕТ ВРАЧИ АКУШЕР ДЕВУШКА ТЕРАПЕВТ ВОЗМОЖЕН  
ПЕРЕВОЗ ПЕРМЬ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ СЧИТАЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ  
ОПАСНОСТЬ НОВОЙ ТРАВМЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ  
БОЛЬНИЦЕ=НАДЯ

*АМ. Короб 3. Папка 101.*

**Письмо Н.И. Бухарина И.В. Сталину от 5 или 6 июня 1934 года  
об Академии наук, наследстве «Правды» и «деле» Мандельштама**

<Июнь 1934 г.>

Дорогой Коба,

На дня четыре–пять я уезжаю в Ленинград, так как должен засесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне работать не дают: нужно скрыться (адрес: Акад«емия» Наук, кв. 30). В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1) Об Академии Наук. Положение становится окончательно нетерпимым. Я получил письмо от секретаря партколлектива г. Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрасно разбирающийся). Это – сдержанный вопль. Письмо прилагаю. Если бы ты приказал – как ты это умеешь, – всё бы завертелось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Ак«адемия» Н«аук» не получила никакой иностр«анной» литературы – вот тут и следи за наукой!

2) О наследстве «Правды» (типографском). Было решено, что значительная часть этого наследства перейдет нам. На посл«еднем» заседании Оргбюро была выбрана комиссия, которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очутиться буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу Стецкому, чтоб нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброшены назад. Нам действительно нужно старое оборудование «Правды» и корпуса.

3) О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался(!) с Алексеем Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М«андельштама», что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т. д. Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он – безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д. Т. к. ко мне всё время апеллируют, а я не знаю, что он и в чем он «наблудил», то я решил тебе написать и об этом. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Николай

P. S. О Мандельштаме пишу еще раз (на об«ороте»), потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М«андельштама» и никто ничего не знает.

Кто знает  
или право автор  
составил материал  
в Сталине? Вспомни?

Дорогой Коба,

На днях Гитлер-партя я встретил в Ленинграде, так как  
должен засесть за деловую подготовку к съезду писателей, а дел  
-ные работы не делаются: нужно справиться (через Леонова, если)  
В связи с этим я решил тебе написать в нескольких строчках:

1) О Александровиче Мухе. Положение становится экономически  
невытерпимым. Я получил письмо от секретаря партии  
содержаща Г. Кошелева (отныне коренный партизан, бывший рабочий,  
прекрасно разбирающийся). Это - держаный боец. Письмо  
принято. Если бы ты пожаловал - как ты это устроишь - во  
-от задание. В добавление скажи еще Гитлеру, что за 1934  
Ах-М. не получила никакой автограф. Автограф - был тут  
и следы за автограф!

2) О наследстве Прудона (типозавтрак). Было решено, что зна  
-менитая часть этого наследства перейдет кав. На почт. заве  
-дания Прудона эти вещи каменья, которые подвергает  
переселению этот Гитлер и он не мог бы отступить буквально  
на шаг. Я прошу Гитлера указать своему другу Стучкову,  
чтоб нас не обманывали. Иначе он будет далеко впереди на  
-зад. Нам необходимо купить сразу автограф Прудона и копию.

3) О письме Мандельштама. Он был недавно приехал и в  
-справ. До этого он приехал со своим знакомым кав и в  
-сказывал свои опасения по себе предмет в связи с тем, что  
он попался ф.л.с. А. Молотков, которому некое символиче  
-ский удар за то, что тот несправедливо скажет рожки или дело,  
когда друг твой писатель пады его жему. Я говорил с Дура  
-новым, но он мне ничего конкретного не сказал. Менее  
е побуждал откровенно телеграммой от жему М., что он  
пожаловал расстроил, попался впереводке из окна и т.д.  
Мое озвучка О. Мандельштама: он - левый человек, но  
-абсолютно неосвещен; он - безукоризнен не совсем норма  
-льк; он чувствует себя затравленным и т.д. Так же  
мне бы брвал александрий, а я не знал, что он и в  
-связи от наследия, то я решил тебе написать и об  
-том. Прости за длинное письмо. Привет.

Твой Н.И. Бухарин, Москва-Стр. 200-100-3. Твой Николай

167-об  
Письму, что Борис Маурермак в повести.  
Учтено, что автор М.И. - и никто не  
Зем не знает.

Н.И. Бухарин. Письмо  
И.В. Сталину. Автограф  
(РГАСПИ)

Резолюция Сталина: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...».

*РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 709. Л. 167–167об.* Рукописный подлинник на типографском бланке ответственного редактора газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» Н.И. Бухарина. Резолюция Сталина – автограф. Пункт третий письма отмечен красным карандашом. Подчеркивания в тексте – Бухарина. На обороте пометка рукой неизвестного о том, что документ поступил в июне 1934 г. Впервые: Письма Н.И. Бухарина последних лет. Август–декабрь 1936 г. / Публ. Ю. Мурина // Источник. 1993. № 2. С. 12 (приведены только постскриптум письма Бухарина и резолюция Сталина). Впервые полностью: Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 239–240. Перепеч.: Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 326.

**Меморандум СПО ОГПУ от 5 июня 1934 г.  
о психиатрической экспертизе О.Э. Мандельштама**

**МЕМОРАНДУМ  
В СВЕРДЛОВСК ПП ОГПУ САМОЙЛОВУ**

Немедленной экспертизой психиатров проверьте психическое состояние высланного в Чердынь Мандельштама Осипа Эмильевича. Результат телеграфьте. Окажите содействие в лечении и работе.

№ 9352. Молчанов. 5/VI—34 г.

**ВЕРНО:**

Уполн<омоченный> 4 СПО ОГПУ

(Вепринцев)

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 31. Телеграмма.*

**Заявление А.Э. Мандельштама в ОГПУ от 6 июня 1934 г.  
с сообщением о болезни О.Э. Мандельштама и просьбой  
о его освидетельствовании и о переводе из Чердыни в город,  
где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход**

В ОГПУ

Александра Эмильевича Мандельштама

Заявление

28/V по приговору ОГПУ брат мой О.Э. Мандельштам был выслан на 3 года в Чердынь. Жена брата Н.Я. Мандельштам, сопровождающая брата в ссылке, сообщила телеграммой из Чердыни, что брат психически заболел, бредит, галлюционирует, выбросился из окна второго этажа и что на месте в Чердыни медицинская помощь не обеспечена (медперсонал – молодой терапевт и акушер).

Предполагается перевод в Пермскую психиатрическую больницу, что по сообщению жены может дать отрицательные результаты.

Прошу освидетельствовать брата и, при подтверждении психического заболевания, перевести его в город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки, близ Москвы, Ленинграда или Свердловска.

*А. Мандельштам*

6/VI–34

Адрес. Москва, Старосадский, 10, кв. 3.

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 30. Автограф. Подчеркивания рукой неустановленного лица. Вверху – резолюция неустановленного лица: «Т. Молчанову. Подпись. 8/VI–34».*

**Телеграмма Н.Я. Мандельштам от 7 июня 1934 года из Чердыни в Общество помощи политическим заключенным о болезни О.Э. Мандельштама**

314 ЧЕРДЫНИ 215 20 7 12 40 МОСКВА КУЗНЕЦКИЙ 24  
КРАСНЫЙ КРЕСТ ПЕШКОВОЙ, ВИНАВЕРУ

**ПОЭТ МАНДЕЛЬШТАМ, СОСЛАННЫЙ ЧЕРДЫНЬ, ЗАБОЛЕЛ ТРАВМОПСИХОЗОМ. ПРОШУ СОДЕЙСТВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ЛЕЧЕНИЯ = НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ**

*ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1257. Л. 143.*

**Меморандум СПО ОГПУ от 9 июня 1934 г.  
о психиатрической экспертизе О.Э. Мандельштама**

**МЕМОРАНДУМ**

**В СВЕРДЛОВСК, ПП ОГПУ САМОЙЛОВУ**

В дополнение № 9352 немедленно переведите Мандельштама в Свердловск, поместите в больницу для исследования психического состояния. Результат телеграфьте.

№ 9370. Молчанов. 9/VI—34.

**ВЕРНО:**

Уполн.омоченный» 4 СПО ОГПУ (Веprinцев)

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 31. Телеграмма.*

Выписка из протокола

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 10 июня 1934 г.

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

Рассмотреть дело № 4108 гр.  
МАНЦЕНЬГАМ Осипа Эмильевича,  
пост. Ос. Сов. от 26/У-34г.  
осужден в г. Чердынь сроком  
на 1 год, считая срок с  
15-34г. (обв. по 58/10 ст. УК)

Во изменение прежнего поста-  
новления -  
МАНЦЕНЬГАМ Осипа Эмильевича  
лишить права проживания в  
Московской, Ленинградской обл.  
Харькове, Мелеве, Одессе, Росто-  
ве н/Д, Цытигорске, Чиниске,  
Тифлисе, Баку, Хабаровске и  
Свердловске на оставшийся  
срок.



Секретарь Коллегии ОГПУ.

Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ  
от 10 июня 1934 года (ЦА ФСБ)

**Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ  
от 10 июня 1934 года с постановлением об изменении Постановления ОСО  
от 26 мая 1934 года**

Выписка из протокола

Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 10 июня 1934 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
1. Пересмотр дела № 4108 гр. МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича, приг <sup>о</sup> воренного» пост <sup>а</sup> новлением» Ос <sup>о</sup> бого» Сов <sup>е</sup> щания» от 26/V—34 г. к высылке в г. Чердынь сроком на ТРИ года, считая срок с 16/5—34 г. (обвиняется» по 58/10 ст. УК).	Во изменение прежнего постановления — МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича лишить права проживания в Московской, Ленинградской обл., Харькове, Киеве, Одессе, Ростове н/Д, Пятигорске, Минске, Тифлисе, Баку, Хабаровске и Свердловске на оставшийся срок.

Секретарь Коллегии ОГПУ

*Печать-факсимиле*

*Круглая печать ОГПУ*

*ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 32.*

**Телеграмма Е.Я. Хазина Н.Я. Мандельштам от 13 июня 1934 года**

Из Москвы № 19/119

сл. 10 13-го 21ч.

Передача: 14/6 4—10

**ЧЕРДЫНЬ ВОСТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖДЕ МАНДЕЛЬШТАМ**

**ОБЕСПОКОЕН ОТСТУТСТВИЕМ ТЕЛЕГРАММ ЗАМЕНА  
ПОДТВЕРЖДЕНА**

*АМ. Короб 3. Панка 101.*

**Телеграмма Н.Я. Мандельштам Е.Я. Хазину от 16 июня 1934 года**

136 ПЕРМИ 23301 11 16 21 25 НАЩЕКИНСКИЙ 5 МОСКВА  
СТРАСТНОЙ 6 ХАЗИНУ

ЕДЕМ КАЗАНЬ ПАРОХОДОМ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖ  
СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ

*АМ. Короб 3. Папка 101.*

## ДОЛГОЕ ЭХО: ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО УРАЛА И ВОРОНЕЖСКИЕ СТИХИ О. МАНДЕЛЬШТАМА

...Лишь весной 1935 года, после более чем годичного перерыва, О.М. вновь обрёл возможность писать стихи.

Тогда же, вслед за несколькими непосредственно воронежскими, появились и первые «уральские» стихотворения: о Каме — полноводной речной части прошлогоднего маршрута («Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» в двух редакциях и «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток. / Полноводная Кама неслась на буюк...»); «Стансы», где в третьей строфе («Подумаешь, как в Чердыни-голубе...») в энigmatических метафорах излагаются события этих нескольких первых дней ссылки, — там появляются названия Тобол и Обь, расширяющие пространство стихов далеко на восток; стихотворение обо всей пятидневной дороге на Урал («День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток / Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах...»); стихотворение об «уральском» фильме «Чапаев» («От сырой простыни говорящая...»), преемственное к предыдущему, — ведь это там в последней строфе «Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой...», но также, восхищенно-амбивалентным восклицанием — «Чуден жар прикрепленной земли!» — связанное и с воронежскими строками о «земле и воле» («Чернозем»).

Еще четыре реминисцентных, почти мечтательных упоминания находим среди воронежских зимних стихов начала 1937 г.: «О, этот медленный, одышливый простор!..» («...На берегах зубчатых Камы...»); «Я нынче в паутине световой...» («Таких прозрачных, плачущих камней / Нет ни в Крыму, ни на Урале»); «Средь народного шума и сбега...» («Шла пермяцкого говора сила...») и «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...» («Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье...»).

Так поэт воспел впервые увиденное им пространство Урала, воздав ему дань восторга и восхищения. Уже в первый год ссылки он готов был хлопотать о заказе на путевые очерки, с тем чтобы уже из Воронежа, в качестве «корреспондента», совершить повторное, на этот раз добровольное путешествие по тому же уральскому маршруту.

Надежда Яковлевна, подробно описывая путь на Урал и краткое пребывание в Чердыни, упоминает, что в дорогу они взяли томик Пушкина, и на одного из конвоиров — естественно, солдата «внутренней службы» ГПУ — произвел сильное впечатление рассказ старого цыгана о ссылке Овидия («Воспоминания», глава «Тезка»).

Думается, что этот мотив отмечен Н.Я. не случайно. Параллели с пушкинским веком и пушкинской судьбой были очень важны для Мандельштама

и его современников. На этих параллелях построил Маяковский свой разговор с памятником первому поэту. Их подчеркивал Пастернак в стихотворении 1931 г.: «Столетье с лишним – не вчера, / Но сила прежняя в соблазне / В надежде славы и добра / Взглянуть на вещи без боязни... И те же выписки из книг, / И тех же дат сопоставлень» и, годом раньше, в сложном каламбурно организованном коллаже, совмещающем пушкинскую маленькую трагедию «Пир во время чумы» с классическим платоновским диалогом «Пир», где собеседники обсуждают темы искусства и красоты: «...Что мы на пиру в вековом прототипе, / На пире Платона во время чумы» («Лето»). Последняя строфа пастернаковского стихотворения начинается: «И это ли происки Мэри арфистики...».

В 1931 году О.М. вводит тему и образы пушкинского «Пира во время чумы» в стихотворение, известное под «домашним» названием «Фазтонщик»: «На высоком перевале, / В мусульманской стороне, / Мы со смертью пировали. / Было страшно, как во сне. ... Под кожаной маской / Скрыв ужасные черты... Это чумный председатель / Заблудился с лошадьми...». А тремя месяцами раньше, в стихотворении «Я скажу тебе с последней / Прямотой...», в «сниженном» лексико-стилистическом обрамлении, у Мандельштама появляется пушкинское из «Пира во время чумы», а теперь уже и пастернаковское из «Лета» имя Мэри: «Ангел Мэри, пей коктейли, / Дуй вино».

О.М., который, по свидетельству Анны Ахматовой, к Пушкину относился очень лично и редко упоминал его имя, в конце 20-х годов упорно добивался командировки в Армению, не объясняя причин своего упорства. Поездка в Армению и Грузию намечалась сперва на 1929 год, а состоялась в 1930, – и тогда-то, после пятилетнего перерыва, поэт снова начал писать стихи. А теперь припомним, что пушкинское «Путешествие в Эрзерум» пришлось на 1829 г., и такое совпадение вполне могло волновать, а, может быть, и вдохновлять О.М.

Чувствительность поэта к подобным сопоставлениям проявляется в стихах, примыкающих к циклу «Армения» (октябрь 1930). В финале стихотворения «Дикая кошка – армянская речь...» дается метафорическая и паронимическая аллюзия на описанную Пушкиным встречу с гробом Грибоедова («Долго ль еще нам ходить по гроба, / Как по грибы деревенская девка?..») и прямо упоминается заглавный топоним пушкинского путешествия («...Да эрзерумская кисть винограду»). В следующем стихотворении неназванный Пушкин – путешественник «без подорожной», то есть без официального разрешения на поездку, – фигурирует с почти документальной очевидностью:

И по-звериному воеет людьё,  
И по-людски куролесит зверьё...  
Чудный чиновник без подорожной  
Командирован к тачке острожной  
И Черномора пригубил питьё  
В кислой корчме на пути к Эрзеруму...

Однако Пушкин остается не названным прямо по имени, как не назван он двумя годами позже в «Стихах о русской поэзии», преемственных в определенной мере, хотя и в ином ключе, к пушкинской эпиграмме 1829 г. «Собрание насекомых» (давнее наблюдение В.А. Сайтанова, позднее развитое Л.Ф. Кацисом). Имя Пушкина открыто появляется лишь в «Ариосте» («Во всей Италии приятнейший, умнейший...») тем же летом 1932 г.: «На языке цикад пленительная смесь / Из грусти пушкинской и средиземной песни...».

Это стихотворение поэт вспоминает и перерабатывает в Воронеже летом 1935 г. («В Европе холодно, в Италии темно...»), вслед за тем, как в стихах об уральском путешествии было сказано впрямую: «Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, / Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкинородов...». Каламбурные «пушкинороды с наганами», как мы уже знаем по «Воспоминаниям» Н.Я. (глава «Тезка»), — это конвойный солдат Оська, читающий стихи из пушкинского томика, захваченного О.М. в уральскую ссылку, и двое его слушателей и коллег, славные представители нового поколения пушкинских читателей и мандельштамовских спутников.

Прямое называние имени первого поэта — явный признак того, что ссылка на Урал воспринималась О.М. под знаком Пушкина. И как Пушкин искал на Урале следы народного героя — Пугачева, так и О.М. нашел там нового, сошедшего с экрана, народного героя — Чапаева. По-видимому, когда речь идет о ссылке русского поэта, невольно вспоминается Пушкин, который, «вослед Радищеву» не только «восславил свободу», но и со своими пятью годами ссылки на полтора с лишним столетия (конечно, тут мы с необходимостью учитываем двадцатилетний перерыв на каннибализм 1935—1955 гг.) стал едва ли не «номером один» в длинном списке ссылных и возвращенных русских поэтов XVIII—XX века, от Радищева и Лермонтова — до Мандельштама и Иосифа Бродского. Радищев был сослан в Сибирь. Пушкин — в Кишинев, Одессу и Михайловское. Что касается Урала, то туда он ездил позднее, осенью 1833 года, и вполне добровольно — собирать фольклор и свидетельства немногих уцелевших (спустя шесть-то десятилетий!) современников для своей «Истории Пугачева».

Столетье спустя Мандельштам, по-видимому, осмысливает свое уральское путешествие в сходном ракурсе — как погружение в народную толщу («Средь народного шума и спеха...»); как приобщение к неистребимой и по-разному описанной Пушкиным народной силе и мощи («Шла пермяцкого говора сила...»); как опыт единения с другими («Я в мир вхожу — и люди хороши»). Воронежский опыт, события 1935—1937 гг. лишь укрепляют в поэте подобное самоощущение.

Приведенный выше перечень «уральских стихов», неравномерно рассеянных в «Воронежских тетрадах», не расширился вплоть до 1986 г., когда Э.Г. Герштейн опубликовала в своей книге «Новое о Мандельштаме» извлеченное из сохранившейся части архива С.Б. Рудакова (воронежского собеседника Мандельштама) шуточное стихотворение О.М.: «Один портной / С хорошей головой / Приговорен был к высшей мере. / И что ж? — портновской следуя манере,

/ С себя он мерку снял, / И до сих пор живой». Согласно пояснениям Рудакова, О.М. сочинил эту эпиграмму на самого себя в мае 1934 г. в Свердловске, то есть во время первого уральского путешествия в Чердынь. Употребленное здесь в ироническом и даже каламбурном ключе выражение «к высшей мере» (имеется в виду высшая мера наказания или, как еще выражались тогда, «высшая мера социальной защиты» — попросту говоря, — расстрел) и весь оптимистический настрой эпиграммы позволяют нам контекстно сблизить с нею написанное в мае 1935 г. — в то же самое время, когда создавались стихи о Каме-реке, Чердыни, Урале и Чапаеве, — стихотворение «Еще мы жизнью полны в высшей мере...», в зачине своем содержащее сходный, почти столь же несложный, но гораздо более энергичный, эмоционально, философски и политически насыщенный каламбур, во многом сравнимый с пастернаковским «пиром Платона во время чумы». Соответственно, появляется дополнительное основание причислить к неназванным «городам Союза» уральские — Свердловск, Пермь и Чердынь. Таким образом, число стихов с упоминаниями и отзвуками Урала увеличивается до двенадцати.

Что касается некоторых мотивов, впервые проявившихся или после долгого перерыва актуализованных в уральских стихах, то они будут звучать в целом ряде произведений воронежского периода, в том числе таких важных, как «Ода» и «Стихи о неизвестном солдате».

Мы уже упоминали о Б. Пастернаке — у них с О.М. имеется много параллелей и перекличек (Керенский; Венеция; Елена Спартанская (Троянская); почти одновременное путешествие на Кавказ и стихи об этом; отмеченный Н.Я. диалог о концертном зале, о квартире; отмеченный Ю.И. Левиним диалог о ремесле поэта и ряд других). Здесь нужно отметить, что Б. Пастернак тоже бывал на Урале и писал о нем в стихах и в прозе («Урал впервые», «На пароходе», «Уральские стихи», «Детство Люверс» и др.). По-видимому, пастернаковские стихи об Урале нужно учитывать и как подтекст «уральского цикла» О.М.

Другим современником Мандельштама, совершившим в те же годы поэтическое путешествие на Урал, был французский поэт-коммунист (а раньше — сюрреалист) Луи Арагон. В начале 30-х вышла очередная книжка его стихов «Нougга, Oural!» («Ура, Урал!»), «посвященная революции, гражданской войне и социалистическому строительству в СССР». Возможно, актуализация темы гражданской войны, упоминание об адмирале Колчаке в стихах О.М. про Чапаева имеют еще одним из подтекстов, поэтических источников именно эту книжку Арагона, но, скорее всего, не в оригинале. Одно из входивших в нее стихотворений в период до конца 1933 г. переводил давний приятель О.М. поэт Бенедикт Лившиц (этот перевод вошел в его знаменитую антологию «От романтиков до сюрреалистов»). Напечатанная без знаков препинания, мрачная баллада-агитка Арагона начинается упоминанием «кровавого адмирала Колчака», а кончается победно и лучезарно: одержавшие верх над Колчаком и освободившие уральскую землю и ее детей красные партизанские «Бойцы ребятам говорят / Про технику и про машины / И синие глаза ребят / Горят

горят горят горят». Перевод Лившица, как всегда, превосходен; в оригинале у Арагона в ответ на рассказ «о технике и о машинах» дети «раскрывают глаза» — и дальше, в последней строке, шестикратно повторяется эпитет «голубые» (или «синие»). Включение лившицевского перевода в число подтекстов к «Стрижке детей» дает дополнительное основание поместить «Стрижку» в рамки не сведенного Мандельштамом воедино «Уральского цикла».

Нужно подчеркнуть, что реминисцентное пространство и реминисцентное историческое время охвачены Мандельштамом в «Воронежских стихах» очень широко. Такая широта достаточно хорошо знакома читателям поэта.

Впечатление неожиданности создает выпуклое воспоминание о гражданской войне («Как по улицам Киева-Вия...», апрель 1937) и войне 14-го года («Стихи о неизвестном солдате», первые редакции — март 1937). Впервые тема гражданской войны разрабатывается в Воронеже в апреле—июле 1935 г. в двух «уральских» стихотворениях, связанных с кинофильмом «Чапаев» («День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» и «От сырой простыни говорящая...»).

Гражданская война была знакома О.М. не понаслышке. Ему случалось покидать Киев перед захватом города петлюровцами. Он жил во врангелевском Крыму. Там его арестовали впервые. Второй раз — при меньшевиках в Батуме (очерк «Возвращение», где фигурирует благожелательно настроенный конвоир).

Можно предположить, что подконвойное путешествие лета 1934 г. актуализовало этот опыт времен гражданской войны (ср. главу «К месту назначения» в «Воспоминаниях» Н.Я., особенно первые абзацы).

Актуализованный опыт личных переживаний мог быть заострен и усилен впечатлением от фильма «Чапаев», от близкого по содержанию стихотворения Арагона в переводе Лившица. Долгое эхо «уральских стихов» звучит до начала февраля 1937 г. («Средь народного шума и спеха...», «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...»). В следующем месяце начинается работа над «Солдатом», то есть совершается не слишком большой реверсивный реминисцентный шаг от ассоциаций периода гражданской войны к ассоциациям периода войны 14—18 гг. В апреле 1937 г. гражданская война вспоминается снова, очень выпукло и детально («Как по улицам Киева-Вия...»). Учтем также, что в Воронеже писались и стихи, окрашенные военными мотивами конца 30-х гг. (первая строфа «Стансов» — май 1935; «Не мучнистой бабочкою белой...» — июль 1935 — май 1936; «Обороняет сон мою донскую сонь...» — февраль 1937), и даже в стихах о морской пучине («Бежит волна — волной волне хребет лома...» — июнь 1935 и «Исполню дымчатый обряд...» — июль 1935) у Мандельштама возникают военные ассоциации, причем в последнем стихотворении появляется строка «Но мне милей простой солдат...».

На этом фоне «Стихи о неизвестном солдате» уже не кажутся столь внезапными.

Остается стоящая особняком вторая большая загадка «Воронежских стихов», загадка так называемой «Оды Сталину» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» — январь—февраль 37).

Для ее решения стихи «уральского цикла» тоже дают некоторую отправную точку. В них автор совершенно отчетливо ставит своего героя рядом с Чапаевым, признается в желании «...эту безумную гладь / В долгополой шинели беречь, охранять» («Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток...»).

Особенно близка к «Оде» — по времени и по мотивам — уральская реминисценция января 1937 г. «Средь народного шума и сбега...». Здесь — первый эскиз, крупным планом набросок фрагмента сталинского портрета («...И ласкала меня и сверлила / Со стены этих глаз журьба»), здесь в последней строфе мечта о покаянной встрече с оскорбленным, но выказавшим благородную милость хозяином Кремля: «И к нему, в его сердцевицу, / Я без пропуска в Кремль вошел, / Разорвав расстояний холстину, / Головою повинной тяжел...»

Однако эта тема патриотизма (в том числе — военного) и политической преданности в отчетливой, личной форме начинается летом 1935 г. в «Стансах» («Я не хочу среди юношей тепличных / Разменивать последний грош души, / Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в мир вхожу — и люди хороши. / Люблю шинель красноармейской складки, / Длину до пят, рукав простой и гладкий, / И волжской туче родственный покров...» — не будем забывать, кого именно в то время изображали на портретах, фотографиях и в кинокадрах одетым в длинную до пят солдатскую шинель без знаков различия; в тех же «Стансах» во второй строфе центральная строка «...Я должен жить, дыша и большевея...», и она же повторяется в начале шестой строфы; третья строфа, как уже упоминалось — воспоминание о Чердыни; четвертая строфа — реминисценция реального, по пути из Чердыни в Воронеж, кратковременного заезда в Москву, но еще больше — счастливое предвкушение чаемого будущего возвращения: «И ты, Москва, сестра моя, легка, / Когда встречаешь в самолете брата...»; пятая строфа — «Моя страна со мною говорила, / Мирволила, журила...». Одноименность этого стихотворения с пушкинскими «Стансами» 1826 г., написанными в благодарность вызволившему из ссылки Николаю I и частично цитируемыми Пастернаком в уже упомянутом «Столетье с лишним — не вчера...» указывает на естественное стремление О.М. укорениться в прежней и современной традиции больших поэтов. «Сестра моя» перекликается у него с заглавием самой известной пастернаковской книги стихов («Сестра моя — жизнь»). И за всем этим — явный мотив раскаяния, личной благодарности милостивцу, который, вместо того, чтобы покарать за оскорбление, — пощадил, помиловал.

Кажется, этот личный мотив, в данном случае берущий свое начало в биографических обстоятельствах мая—июня 1934 г., и явственно отразившийся год спустя в стихах «уральского цикла», не обратил на себя до сих пор достаточно сфокусированного внимания.

*Август 2003*

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя ( <i>П. Нерлер</i> ) .....	3
Уральские волны: три встречи с поэтом ( <i>П. Нерлер</i> ) .....	5

### I

#### *Осип Мандельштам. Стихи. Очерки. Переводы*

«Мы живем, под собою не чуя страны...» .....	21
«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» .....	22
«От сырой простыни говорящая...» .....	23
1. «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» .....	25
2. «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» .....	25
3. «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток...» .....	25
Стансы .....	26
«О, этот медленный, одышливый простор...» .....	28
«Я нынче в паутине световой...» .....	29
«Средь народного шума и спеха...» .....	31
«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...» .....	32

#### *Приложение*

Международная крестьянская конференция .....	33
Пьер Гамп .....	35
Шахтеры Ньюкэстля (из Барбье) .....	36

### II

#### *Надежда Мандельштам. Из книги «Воспоминания»*

Тезка .....	40
Шоколадка .....	42
Прыжок .....	43
Чердынь .....	47
Галлюцинации .....	50
О природе чуда .....	56
К месту назначения .....	59

### III

#### *Документы из следственного дела и другие материалы: вокруг ареста и ссылки О.Э. Мандельштама в Чердынь*

Долгое эхо: поэтическое пространство Урала и воронежские стихи О. Мандельштама ( <i>Ю. Фрейдин</i> ) .....	82
---	----

Документы

Вспоминания.

Стихи.



Подумаешь, как в Чердыни-голубе,  
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,  
В семивершковой я метался кутерьме!  
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,  
Как петушок в прозрачной летней тьме, —  
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —  
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.